



ИГОРЬ ДУЭЛЬ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ГЕРОИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ

ГЕРОИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ

ИГОРЬ ДУЭЛЬ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

(Документальная повесть)

Москва. Издательство политической литературы. 1977

001(09)

Д 86



Дуэль И. И.
Д 86 Линия жизни. (Докум. повесть). М.,
Политиздат, 1977.

128 с. с ил. (Герои Советской Родины).

Неповторимая личность Героя Советского Союза академика Отто Юльевича Шмидта вызывала восхищение современников. Слава его была поистине всемирной.

Подчиняясь небывалому ритму жизни нашей молодой страны, Шмидт как бы прессовал время собственной жизни. Потому он сумел оставить заметный след в самых разных, порой, казалось, несовместимых областях государственной и научной деятельности. Имя О. Ю. Шмидта неотделимо от героической эпопеи освоения Арктики. Ему принадлежат значительные открытия в математике и космогонии.

О жизни этого замечательного человека рассказывает книга писателя Игоря Дуэля, рассчитанная на массового читателя.

Д $\frac{10604-017}{079(02)-77}$ 325—77

001(09) + 91(09)

© ПОЛИТИЗДАТ, 1977 г.

Конструкция биографии

«Мы не думали удивлять мир, создавать какие-то новые образцы, проявлять геройство», — писал Шмидт летом 1934 года в статье, подводившей итоги челюскинской эпопеи.

Но мир был удивлен.

После двух месяцев напряженного ожидания, когда каждый день для огромного большинства людей Земли начинался с тревожного просмотра газетных строк — как там эти русские на льдине, живы ли, держатся ли? — мир легко вздохнул, вся мировая пресса восторженно заговорила о мужестве и благородстве полярных исследователей России.

Людская память — не электронная машина. Она не в силах была удержать имена всех ста четырех полярников и их спасителей. Но одно имя — имя того, кто был главным в этой когорте, имя Шмидта — знали в то время все. Думал он о том или нет — он удивил мир.

В биографии Шмидта было немало поворотов, которые тоже удивляли современников — пусть не все человечество, а десятки, или сотни, или тысячи людей, но здесь разница только количественная. Главное же — поступки его таили в себе столь неожиданную, нетривиальную логику, что казались вовсе нелогичными.

Ну в самом деле, скажем, что он сделал летом 1917 года? Было ему в то время совсем немного —

25 лет, а за плечами уже с блеском законченный университет, несколько самостоятельных научных работ, весьма одобрительно принятых математиками, золотая медаль имени профессора Рахманинова, звание приват-доцента. Но однажды он бросает математику.

Ради чего? Чтобы решать, как лучше снабжать городской люд хлебом, заниматься карточками на сахар. Светлое царство математики, имя открывателя неведомых миру абстракций, высокий полет свободного духа, наконец, дорога, сулящая блистательную карьеру,— все это вдруг обменено на бранные заботы об удовлетворении нужд человеческой плоти, на заботы, с которыми может справиться любой человек, не осененный нимбом таланта. Естественно, что многим коллегам Шмидта, видевшим в нем перспективного математика, было отчего удивляться. Ведь такое крутое обращение с собственной судьбой может показаться не просто странностью, скорее — молодым легкомыслием.

Впрочем, тут еще, порывшись в памяти, можно найти аналогии. Мало ли как меняются цели и установки человека в молодости? Жил же на свете прекрасный поэт Артюр Рембо, и поныне вызывающий восхищение у знатоков и любителей стиха. Так вот, все его произведения написаны в раннем возрасте. А в 24 года Рембо взял и бросил раз и навсегда поэзию. И вел в Африке, куда перебрался из Франции, жизнь негоцианта, весьма далекую от того пути, который принес ему всемирную славу, а между тем был счастлив и даже ругал себя, что несколько лет жизни истратил на мараение бумаги.

Так, может, и для Шмидта эта самая практическая работа оказалась более органичной, чем поиск истины в хрустальных дворцах алгебраических абстракций?

Как бы все просто, кабы так! Но в 1927 году — тридцатишестилетним (а это возраст, который в «чистой» науке почитается уже не очень перспективным) Шмидт из клокочущей ежедневными заботами Москвы, где он одновременно занимал несколько высоких государственных постов, вырывается в Геттинген, тогдашнюю математическую столицу мира. В тот самый Геттинген, где некогда набирался познаний молодой Ленский. Казалось бы, и от Шмидта большего не требуется — привезти «из Германии туманной учености плоды». Но... Впрочем, здесь материя слишком специальная, о ней не литератору судить, потому привожу слова академика Павла Сергеевича Александрова, который в те далекие дни оказался в Геттингене вместе со Шмидтом. «Вырвавшись на два месяца из обстановки крайне напряженной работы, он, по его собственным словам, как бы окунулся в математическую работу. Результат был выдающимся. Достаточно было этих, по существу, нескольких недель досуга, чтобы Отто Юльевич, овладев всем тем, что было сделано в области его математической специальности за целое десятилетие, не только оказался полностью на уровне последних достижений этой науки, но и сразу же пополнил ее собственными первоклассными исследованиями.

Теорема теории групп, известная под именем теоремы Шмидта, представляет собой одну из основных теорем современной алгебры. Это теорема такого ранга и значения, которые в каждой области математики насчитываются только единицами... Теорема О. Ю. Шмидта в теории групп принадлежит к фундаментальным, большим открытиям, которые навсегда останутся в науке...

Выступление О. Ю. Шмидта в Геттингене имело большой и широкий успех. Посудите сами, приехал

из Советского Союза крупный общественно-политический деятель, делает блестящее математическое открытие и столь же блестяще излагает его. Естественно, успех О. Ю. Шмидта стал своего рода сенсацией».

А вскоре — опять неожиданное. Всего через два года после крупного успеха в Геттингене происходит новый поворот в биографии Шмидта. Судьба забрасывает его в Арктику. И на девять лет полярная пустыня становится главной ареной его деятельности. И вот цепь восхищающих мир событий: открытие новых островов, сквозной проход Северным морским путем, челюскинская эпопея, экспедиция на Северный полюс, за которую он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Кажется, теперь уже все: дорога окончательно определена. В исследовании Арктики Шмидтом достигнуто то, о чем мечтали на протяжении нескольких столетий наиболее прозорливые умы планеты. Да и ему под пятьдесят — возраст, когда обычно даже самые активные, самые смелые люди развивают прежние достижения, растят учеников, но уж никак не меняют сферы применения своих — пусть даже недюжинных — сил. Это как будто справедливый и мудрый закон жизни.

Но такие законы не для Шмидта. Через пять лет после завоевания полюса — снова крутой поворот судьбы. К удивлению научного мира, он — известный математик, крупный государственный деятель, прославленный полярный исследователь — вдруг выступает с работой по космогонии. Да не просто с работой, а с новой теорией происхождения Солнечной системы, в том числе и нашей родной планеты. А ведь это — краеугольный камень практически всех наук о Земле, да к тому же и важнейшая проблема астрономии. Словом, нервное сплетение, узел, — один

из коренных вопросов чуть ли не всего естествознания.

Можно понять иных ученых, первая реакция которых на новую работу Шмидта, чужака в космогонии, была резко отрицательной. Да и в первоначальном варианте гипотезы нетрудно было найти уязвимые места. Задетой цеховой гордости космогонистов было за что зацепиться в его построениях.

Но вот прошли три с лишним десятилетия, а теория Шмидта живет в науке. Снова приведем высказывание специалиста. Доктор физико-математических наук Виктор Сергеевич Софронов, руководитель группы эволюции Земли Института физики Земли АН СССР имени О. Ю. Шмидта, вернувшись в 1972 году с международного симпозиума по космогонии, писал: «Проблема происхождения Солнечной системы относится к числу наиболее фундаментальных в естествознании. В нашей стране интерес к ней резко возрос в конце 40-х — начале 50-х годов, когда О. Ю. Шмидт начал разработку новой теории происхождения Земли и планет, исходя из идеи их образования в результате объединения твердых тел и частиц.. Симпозиум был крупнейшим событием в планетной космогонии за последние годы. Он показал, что результаты изучения механизма образования планет достаточно надежны. В этой части проблемы ведущее место принадлежит советским исследованиям (их авторы — ученики и последователи Шмидта, развивающие в своих трудах его идеи.— И. Д.), которые более полно и систематично охватывают различные стороны сложного, многообразного процесса аккумуляции планет».

...Поворот к космогонии был последним крутым виражом в его судьбе. Природой было отпущено ему 65 лет жизни, из которых последние два с половиной года он уже не поднимался с постели. А будь при-

рода более щедрой, кто знает, может, еще не в одну сферу деятельности, не в одну область познания занес бы Шмидта его беспокойный, деятельный ум. Ведь неосуществленной осталась тоже давняя его мечта — заняться языкознанием. А к этому он был весьма основательно подготовлен: в совершенстве владел немецким, английским, французским, итальянским, латынью и древнегреческим...

Таково краткое обозрение *curriculum vitae* (жизненного пути — так, предпочитая русскому «торжественную латынь», именовали свои биографии наши ученые деды и прадеды, в том числе и сам Шмидт) героя этой повести.

Что и говорить — необычный путь.

Его жизнь вызывала не только восторженные отзывы современников, которых поражала разносторонность Шмидта, но и противоположную реакцию: зачем, мол, он так бездумно разбрасывается своим талантом?

Удачно ответил на этот упрек ученик Шмидта профессор А. Г. Курош: «Иные с сожалением и даже с некоторым осуждением говорили: «Как много мог бы сделать Отто Юльевич для математики, если бы он целиком себя отдал ей!», т. е., хочу я добавить, если б он перестал быть Отто Юльевичем Шмидтом».

Вот ключ к пониманию его жизни! Он всегда старался быть верным себе. Идти туда, куда «влек его свободный ум». Он шел на риск — шел в новую, незнакомую сферу деятельности, бросая старую, где был признан, а то и знаменит, не просто потому, что такими странными зигзагами носили его ветры судьбы. Он стремился раскрыть в себе все способности, какие были ему отпущены природой, хотел служить делу, в которое поверил, каждой гранью своего таланта.

Каждой гранью!

Каникулы в Арктике

У капитана Воронина был в Архангельске собственный дом. Вернее, не дом — целая городская усадьба с разными постройками: одноэтажным деревянным флигелем, крытым тесом, с каретником, ледником, двумя дощатыми сараями. И все это венчал дом — в два этажа, рубленный из цельных толстых бревен, под железной крышей, выкрашенной корабельной шаровой краской.

Подробное описание всех строений усадьбы Воронина сохранилось потому, что однажды над владением капитана нависла беда.

В начале декабря 1929 года из Архангельска в Москву пришло письмо. Написал его Владимир Иванович Воронин. И адресовано оно было Отто Юльевичу Шмидту, в то время занимавшему сразу несколько ответственных постов: член коллегии Наркомпроса, Главный редактор Большой Советской Энциклопедии, член Ученого комитета при Совнаркоме, профессор математики 2-го МГУ.

Однако капитан Воронин знал Шмидта не по этим должностям. Познакомились они летом того же 1929 года, когда Шмидт был назначен руководителем экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий Седов» и Правительственным комиссаром Земли Франца-Иосифа.

Вот что писал Шмидту капитан Воронин:

«Глубокоуважаемый Отто Юльевич!

Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Помогите, если это в Ваших силах. Отдел Архангельского местного хозяйства отбирает у меня находящийся в Архангельске дом. 22 ноября т. г. взяли документы, техник объявил, что дом переходит в комхоз. Это еще не беда, а вот плохо то, что, когда дом перейдет

в комхоз, попросят меня выехать из дома. Это уже совсем плохо, т. к. в Архангельске очень остро стоит вопрос с квартирами. Последнее обстоятельство заставило меня, Отто Юльевич, к Вам обратиться, чтобы походатайствовать в защиту меня. Конечно, это я прошу только в том случае, если это будет не против наших законов...»

3 декабря 1929 года из Москвы в Архангельск уходит телеграмма: «Облесполком. Бахутову. Совнарком поступило ходатайство начальника полярной экспедиции Шмидта отмене муниципализации¹ Архангельске дома ледового капитана Воронина, имеющего заслуги как участника северных экспедиций. Случае вынесения постановления муниципализации прошу приостановить исполнение впредь рассмотрения вопроса центре. Пред. МНСК Милютин».

Телеграфный ответ пришел всего через три дня. «Москва. Председателю Малого Совнаркома Милютину. Вопрос муниципализации Архангельске дома Воронина не ставился. Предкрайисполкома Бахутов».

У нас есть основания полагать, что председателя крайисполкома ввели в заблуждение. Воронин не такой человек, чтобы звонить в колокола, не заглянув в святцы. Скорее всего, какой-то руководитель комхоза, услышав, что из Москвы, из самого Совнаркома, пришел запрос, решил пожертвовать своей блестящей административной идеей. А чтобы не получить нагоняя, сделал удивленный вид, — не ставили, мол, вопроса, напрасная паника.

Но в конце концов не в этих предположениях суть. Тут важно другое — по горло занятый Шмидт нажал «на все рычаги», чтобы помочь Воронину.

В самом факте, что Шмидт кому-то помог, ничего

¹ Здесь — передача в собственность местного совета.

необычного не было. К нему обращались с самыми разными просьбами десятки людей, и, если это было в его силах, он что-нибудь обязательно предпринимал. Но, естественно, не по каждому письму беспокоил он руководителей Совнаркома. И если на сей раз обратился к ним, значит, действительно считал, что Воронин того заслуживает.

Важно и то, что Воронин обратился именно к Шмидту. Капитан был человеком до крайности щепетильным и никогда не стал бы тревожить своими домашними заботами случайного товарища по плаванию. Значит, был уверен в дружеском участии.

Итак — друзья...

А между тем — люди, по своим биографиям весьма несхожие.

В тот год, когда судьба свела Шмидта и Воронина на палубе ледокольного парохода «Георгий Седов», у каждого из них за плечами была уже бóльшая половина жизни. Через несколько дней после завершения экспедиции Шмидт отпраздновал свой тридцать восьмой день рождения. Воронину в то время перевалило уже за сорок.

И каждый из них имел основания считать, что прожил свои годы правильно, что жизнь сложилась удачно, что трудом и разумом достигнуты немалые высоты. Словом, каждый из них имел право доверять своему опыту.

Опыт, правда, был совершенно разный.

Шмидт — в 25 лет приват-доцент, признанный математик, потом государственный и общественный деятель, успешно работающий на самых различных поприщах.

Вся жизнь Воронина была связана с морем. Он происходил из древнего поморского рода. На борт судна впервые поднялся восьми годов от роду, а че-

рез три с лишним десятилетия стал капитаном крупного, совершенного по тем временам ледокольного парохода. Эта должность справедливо считалась у родичей его и друзей высшим достижением в морской работе. Притом Воронин был одним из самых умелых и добычливых ледовых капитанов.

Совершенно несхожие жизненные пути сконструировали и несхожие характеры.

Воронин, серьезный, основательный, медлительный, весь был настоян на опыте предков. Он знал великое множество поморских примет, наблюдений, предостережений, пословиц, притч. Для него этот кладезь мудрости значил куда больше, чем все печатные наставления по штурманскому делу. Все его человеческое существо — стиль мышления, нрав, привычки, манеры — было словно обточено волной заполярных морей, арктическими ветрами.

И рядом с ним Шмидт — человек стремительной, гибкой мысли, способной полно и глубоко охватывать самые разные сферы жизни. Он — в частой смене поприщ — привык больше всего доверять логике и интуиции.

В любом деле он оставался по своей сути человеком науки, для которого эксперимент, риск, динамизм мышления — обязательные свойства. Потому и практические дела воспринимались им как интересный, смелый эксперимент, в котором ему необходимо участвовать, потому что все в его личности прямо для этого и создано, потому что сам он отчаянно смел, потому будто о нем пушкинские строки:

«Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог».

Словом, Воронин и Шмидт — это (опять же по-пушкински) «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». И когда столь разные стихии сходятся на небольшой площади капитанской каюты «Георгия Седова», сходятся, чтобы совершать одно общее, и притом весьма необычное, дело, создается чреватая взрывом ситуация. Причем взрывом тем большей силы, что начальник экспедиции при всех правах и полномочиях, которыми он облечен, имеет опыт общения с морем только в роли купальщика, а у капитана за плечами солидный морской стаж.

Между тем авторы жизнеописаний Шмидта утверждают, что с Ворониным он подружился сразу и дружба их будто бы всегда была чуть ли не безоблачной. Это одна из многих легенд про «ледового комиссара». А легенда всегда спрямляет линию жизни героя, лишает ее отклонений и зигзагов. Такая операция поднимает героя на пьедестал, но, подняв, невольно отрывает от грешной земли. Оттого часто поступки легендарных личностей как бы лишаются мотивов или мотивы их слишком общи, чтобы хоть что-то объяснить. Оттого их любви и дружбы возникают легко, сами собой. Герой словно бы входит в мир, уже с рождения «запрограммированный» совершать подвиги.

Однако живой человек в легенду входит плохо. Реальность его бытия не совпадает с эталоном. И когда о реальном человеке рассказывают легенды, возникает множество вопросов — простых и даже наивных, чуть ли не детских: как же и что же там все-таки было? Но попробуй не ответить на них, и твое повествование, которому пытаешься придать гибкость и плавность, чтобы пластика его линий передала пластику жизни, будет разрываться, зиять дырами, пустотами.

Вот хотя бы несколько таких наивных вопросов:

как же Шмидт, впервые попавший в Арктику, более того, впервые вышедший в море не в ранге пассажира, сумел выполнить свою миссию? Как удалось ему, человеку сухопутному, книжному, в короткий срок стать одним из крупнейших полярных исследователей?

На вопросы эти не ответишь, если не проследишь за тем, как складывалась дружба Шмидта с Ворониным, который во всех его плаваниях был капитаном судна.

Но об этом чуть позже. Сперва о том, как Шмидт попал в Арктику и зачем вообще понадобилось посылать в 1929 году «Геоργия Седова» к Земле Франца-Иосифа.

Экспедиция эта была весьма необычной. Академик И. М. Майский дал ей удачное определение — «научно-дипломатическая».

Известному русскому флотоводцу и ученому адмиралу Степану Осиповичу Макарову принадлежит знаменитый афоризм: «Простой взгляд на карту России показывает, что главным своим фасадом она выходит на Ледовитый океан». Понимая, что с полярными морями связаны интересы и экономики, и обороны страны, Правительство Советского Союза 15 апреля 1926 года объявило все земли, которые известны или будут открыты к северу от наших арктических границ — между $32^{\circ}4'35''$ восточной долготы и $168^{\circ}49'30''$ западной долготы — принадлежащими СССР. На картах появился тот самый, хорошо знакомый теперь каждому пунктир границ, тянущийся по светло-голубому полярному океану от Северного полюса в двух направлениях — к Берингову проливу и Кольскому полуострову. Образовавшийся треугольник обозначил Советский сектор Арктики.

Правительство СССР поставило в известность о своем решении другие страны, но либо вовсе не удо-

стоилось ответа, либо получило расплывчатые ноты, в которых говорилось, что отвечающее правительство хотя не возражает против акции СССР, но «резервирует за собой право позднее высказаться по существу вопроса».

Смирено ждать позднейших высказываний «других сторон» Советское правительство не могло. Из Арктики поступали сообщения, что промышленники тех стран, которые не ответили на ноту или «зарезервировали за собой право высказаться», хозяйничали в полярных морях все более бесцеремонно. Поэтому было необходимо конкретными действиями подтвердить свое право на арктические территории, и в первую очередь на Землю Франца-Иосифа, на которую иностранные суда заглядывали особенно часто. Так возникла идея послать на архипелаг экспедицию.

Кроме дипломатической миссии она должна была выполнить целую серию научных исследований и основать на одном из островов полярную станцию.

Все это делало нелегкой задачей выбор начальника экспедиции.

Во-первых, он должен был иметь звание Правительственного комиссара, а такому человеку руководители страны должны целиком и полностью доверять.

Во-вторых, он должен быть ученым, способным возглавить работу научного коллектива, состоящего из квалифицированных специалистов.

В-третьих, быть блестящим организатором, ибо любой, даже незначительный, просчет при создании полярной станции может обернуться гибелью зимовщиков или во всяком случае срывом программы исследований.

И начальником экспедиции назначили Шмидта.

Во-первых, потому что он зарекомендовал себя человеком, который справлялся с любым делом.

Во-вторых, он пользовался неограниченным доверием.

В-третьих, знал иностранные языки.

В-четвертых, он — профессор, потому с учеными должен поладить.

В-пятых, уже давно была отмечена склонность его ко всяким путешествиям. В 1924 году, когда состояние его легких вызвало у врачей тревогу, Шмидт два месяца провел в Альпах, участвовал в альпийских походах и основательно овладел техникой горных восхождений. Через четыре года Шмидт возглавил одну из групп советско-германской Памирской экспедиции и очень хорошо там себя показал. Собирался он на Памир и летом 1929 года, надеясь, что целебный воздух гор снова поправит его здоровье. Но с памирской экспедицией на этот раз что-то не заладилось. А тут как раз понадобился начальник для экспедиции на «Седове». Ему и предложили сменить направление своего каникулярного путешествия: вместо Памира — в Арктику.

В-шестых (наверное, решило все именно «в-шестых»), более подходящей кандидатуры, чем Шмидт, не оказалось...

20 июля «Седов» отваливает от пирса Архангельского порта. Начальник экспедиции заносит в путевой дневник первые свои впечатления от полярного плавания: «23 июля. Утро. Третий день пути. Вчера не записывал — болела голова, было сумно, причина понятна (один раз затошнило), но все сошло. Ел, как обычно. Все «бывалые» перенесли начало путешествия хорошо, а новички — оба врача и служитель зимовщиков — определенно плохо. Я — средне. Хотя для проверки себя играл в шахматы и выигрывал».

С морской болезнью Шмидт через несколько дней

справился, но можно представить, какими были для него эти дни. Ведь ему приходилось не только играть в шахматы — знакомиться с людьми, вникать в совершенно неизвестные прежде проблемы полярного мореплавания. И все это в том состоянии, которое сам он определил словом «сумно», когда не то что думать, просто существовать тяжело. И притом никому нельзя показать, как тебе скверно, ибо одного этого вполне достаточно, чтобы стать предметом насмешек всей команды. Хотя, наверное, до конца насмешек избежать он все же не смог. Слишком уж выделяется новичок в компании выдавших виды моряков. Чего стоит одна из первых фраз его дневника: «Торжественно прощались накануне в 10 вечера, а фактически выехали только сегодня в 5 утра». О пароходе — выехали! Если он хоть однажды неосторожно обронил это словцо во время разговора с командой, можно не сомневаться, что матросы на полубаке и в кубриках не раз покатывались со смеху.

Да и другие записи первых дней — по большей части восторженные панегирики арктической природе — вряд ли вызвали бы сочувствие моряков: «Лед! Разнообразный, всегда красивый — всегда строгий и благородный. Я бы охотно избрал его специально. Кристаллы, структура, ее зависимость от химизма, включения воздуха, химические отличия льда от воды, форма выветривания и нарастания, оптические свойства, отражение в них кристаллической структуры и физико-химических свойств, цвет и т. д. Хорошо!»

Для капитана Воронина лед — давняя специальность. Но лед — это всегда «плохо!». Он мешает двигаться судну, грозит гибелью. И, конечно, много лучше, когда его нет. Причем не только одному Воронину. Здесь интересы капитана полностью совпадают с интересами всей экспедиции: будет тяжелый лед —

к архипелагу не пробиться. Потому по многу часов не сходит Воронин с капитанского мостика, то и дело лезет в укрепленную на мачте наблюдательную бочку, чтобы как можно раньше увидеть, какую еще каверзу подстроил лед.

Шмидт этих трудов капитана, судя по дневнику, вначале вообще не замечает. Во всяком случае, в первые дни, подробно записывая в дневник свои впечатления, он о Воронине упоминает лишь вскользь: «Капитан чрезвычайно внимательный. Производит впечатление человека осторожного и себе на уме, но опытный и приятный». Не очень-то вразумительная характеристика!

Шмидт, видимо, всерьез не задумывался в начале плавания о том; что представляет собой капитан, просто еще не понял, какова его роль в экспедиции, а мыслил категориями сухопутными: капитан ледокола — что-то вроде шофера, куда нужно, туда и поедет. Вот и черкнул первое, пришедшее в голову суждение.

Вообще, приняв на себя новое дело, Шмидт на первых порах слишком торопится с выводами. Об экипаже «Седова» он написал, например, весьма злые и, как потом выяснилось, не слишком справедливые слова: «Подбор команды очень неудачный... отбросы флота». И это в первый день плавания! А ведь он не знает еще, как умеет работать экипаж, не знает толком даже, что экипажу положено делать.

Чуть ниже в дневнике — столь же категоричные строки: «Предложили (команде) заключить договор на разгрузку на Земле Франца-Иосифа. Запросили 10 тысяч вместо нормальных 2—3 тысяч. Секретарь ячейки поддерживает это рвачество». А Шмидт еще полярных островов в глаза не видел, о трудностях разгрузки и вовсе не имеет представления. И пишется это на борту судна, которое Воронин вместе с

командой ведет через шторм, через лед к цели экспедиции.

Словом, все постигалось не сразу. В первые дни путешествия Шмидт еще плохо понимает, что происходит вокруг. Потому то нерешительность, неуверенность в себе, то лихой наскок, будто он комиссар не Земли Франца-Иосифа, а кавалерийского эскадрона. Ничего удивительного — ведь это первые его шаги на совсем незнакомом поприще. Как же ему не оступаться, не сбиваться с ноги?

Удивительно другое: как быстро он начинает разбираться в совершенно непривычной обстановке, точно оценивать людей, отказываться от прежних заблуждений, принимать верные решения.

Вечером 28 июля, когда судно (всего за восемь дней!) достигает берегов Земли Франца-Иосифа, Шмидт впервые отдает дань мастерству Воронина: «Капитан горд — и вполне имеет на это право. Он вел судно исключительно мужественно и энергично».

Еще через четыре дня «Седов» входит в бухту Тихую — наиболее подходящее по сложившимся условиям место для строительства станции. 2 августа начинается выгрузка. После долгих споров команда согласилась работать за 6 тысяч рублей. Шмидт, который нормальной платой считал 2—3 тысячи, подписал договор неохотно. Но когда все имущество станции переброшено на берег, он уже по-иному пишет об экипаже «Седова»: «15 августа закончилась выгрузка. Надо отдать команде справедливость. Хоть она и сборная и не чужда рваческих настроений, но работу они выполнили на славу. Быстро, дружно и очень тщательно. Конечно, они хорошо заработали — но зато и старались!»

Да, прежняя торопливость в суждениях быстро проходит. Шмидт обретает обычную свою объективность. Можно поверить — команда на «Седове» по-

добралась не идеальная. Но «отбросами флота» он больше никогда не называет моряков.

Тут надо отметить к чести Шмидта еще одно обстоятельство: между суждениями, которые он доверял своему дневнику, и тем, что произносил вслух, была, видимо, существенная разница. Иначе вряд ли он заслужил бы доброе отношение к себе моряков, о котором позднее писал: «Команда ... часто показывает мне знаки симпатии. Она ценит, кроме ровного товарищеского отношения и политических бесед (о внешней политике), особенно наличие мужества и предприимчивости, которые мне приписывает».

Не очень лестно отзывается Шмидт поначалу и о будущих зимовщиках станции. Даже их мелкие человеческие слабости вызывают порой в начальнике экспедиции бурю раздражения. Многократно помнит он в своем дневнике недобрый словом граммофон, который зимовщики захватили с собой, чтобы скрасить музыкой полярную ночь. В день высадки в бухте Тихой Шмидт замечает: «Не обошлось без граммофона с его фокстротами. Почти как у Нобиле над полюсом! Не умеем мы еще обойтись в радостях без пошлости». Спустя несколько дней с еще большим раздражением: «Без конца играет граммофон». 22 августа, когда хозяева станции в бухте Тихой покидают «Седов», чтобы поселиться в одной из почти завершенных построек, Шмидт облегченно вздыхает: «...наконец, зимовщики забрали все свое имущество, включая проклятый граммофон, и переехали на берег».

Неприятнь к граммофону отчасти перешла и на зимовщиков. Он долго сомневается, можно ли «Седову» после разгрузки на какое-то время уйти от острова, чтобы провести серию научных наблюдений. Ведь надо быть уверенным, что зимовщики и 16 плотников, специально взятых в экспедицию, чтобы

строить станцию, будут работать в полную силу — не отплясывать под граммофон. А Шмидт в этом не уверен. И хотя в конце концов он дает команду к отходу, но покидает остров, так и не решив, правильно ли поступил.

Надо определить маршрут дальнейшего плавания. Между тем заместители Шмидта, всемирно признанные арктические авторитеты — Визе и Самойлович, предлагают два противоположных варианта: Самойлович — западный — к острову Александры, Визе — восточный — к Северной Земле. Шмидт выбирает третий — через пролив Британский канал на север. И вот именно этот маршрут приводит экспедицию к выдающемуся достижению. «Седову» удастся пробиться до $82^{\circ}14'$ северной широты. Суда, попавшие в ледовый плен, дрейфом ледяных полей иногда выносились и ближе к полюсу. Но ни одно свободно плавающее судно так далеко на север еще не забиралось. «Седов» устанавливает мировой рекорд. Однако главное не в спортивных достижениях. В высоких широтах проведен большой цикл ценнейших научных наблюдений. Одно из них сенсационно: за 82 -й параллелью на глубине обнаружены воды атлантического происхождения. А ранее считалось, что так далеко на север Гольфстрим не может проникнуть.

Все это как будто склоняет к мысли, что в решении Шмидта идти на север было научное предвидение. Но для таких выводов основания зыбкие. Пока он просто новичок, которому повезло.

Достигнув $82^{\circ}14'$ северной широты, «Седов» ложится на обратный курс и идет к бухте Тихой. Но проливы между островами оказываются забиты льдом. Трое суток пытается Воронин пройти к бухте и наконец сдается. Топлива остается в обрез. Капитан считает, что больше нельзя рисковать. Еще

несколько бесплодных попыток — и судно может упустить время для возвращения в порт. Море покроеется льдом, «Седов» станет пленником Арктики. Воронин предлагает немедленно уходить. Разговор происходит в кают-компании. Все ждут решения Шмидта.

Его ответ воспроизводит в своих воспоминаниях корреспондент «Известий» Борис Васильевич Громов:

«О. Ю. Шмидт окинул всех быстрым взглядом серых глаз и сказал:

— Я как начальник экспедиции не могу бросить доверенных мне людей на произвол судьбы. Мы не уйдем от Земли Франца-Иосифа до тех пор, пока я не увижу, что радиостанция построена, что полярники находятся в тепле. Я не дам сигнала к отходу до тех пор, пока не заберу на борт наших строителей. Поэтому сегодня вечером отправлюсь пешком к острову, чтобы все проверить на месте и, если нужно, переправить людей. Вместе со мной пойдут географ Иванов и Громов. Надеюсь, товарищи не откажутся.

Конечно, мы оба с радостью принимаем это почетное предложение».

Воронин пытается отговорить Шмидта от этого похода, но начальник экспедиции тверд в своем намерении. Он настроен бодро, уверен в успехе. Перед самым выходом в путь Шмидт торопливо записывает в дневнике: «Капитан о нас трогательно заботится и, видимо, очень обеспокоен, даже шутить на эту тему не позволяет. Я — вероятно, по недостатку трагического опыта — весел и рад приключению».

Они спустились с «Седова» на лед 27 августа в девять часов вечера — вчетвером: кроме Б. В. Громова и географа И. М. Иванова Шмидт взял себе в спутники опытного матроса Иванова.

Поначалу все складывалось удачно. «Вышли

очень бодрым шагом,— пишет Шмидт в дневнике,— прошли несколько полей, по двое, вытягивая нарты с лодкой. Но скоро поля кончились, пошли торосы, зигзаги, вверх и вниз, в обход и через рапаки. Движение сильно замедлилось... Появились первые разводья, пока небольшие. Прыгаем, притягиваем и отпихиваем льдины, устраиваем из них плоты. Громов предлагает бросить лодку и идти налегке — хорошо, что я не согласился. Устали, разложили палатку (3 утра). Согрелись. От парохода отошли километров 5, но к берегу не видно приближения, оказывается, лед дрейфует от бухты».

Шмидт не сразу оценил, как велика опасность этого дрейфа. Лед из бухты двигался через пролив в открытое море. И если бы на одной из льдин туда вынесло четверых путников, ледаколу вряд ли бы удалось их найти. А тут еще усилился ветер с норд-оста, ледяные поля под его напором задвигались быстрее. Между ними то и дело стали появляться разводья. Была пущена в дело брезентовая лодка-каяк. Однако она с трудом могла взять двух человек — и то чуть не черпала бортами воду. Так что переправляться на каяке приходилось в три приема. При этом, пока матрос Иванов доставлял одного пассажира, узкое разводье превращалось в озеро. И если в первый рейс приходилось преодолевать полосу воды всего в несколько десятков метров, то к последнему она уже достигала километра-полутора. А каяк плохо был приспособлен для плавания по таким просторам. Они пробирались к берегу всё медленнее.

Стало ясно, что до зимовки им не дойти. Шмидт решил сменить направление и двигаться к острову Скотт-Кельти — ближайшей суше. Этот остров и маленький островок Мертвого Тюленя перед ним были двумя последними шансами на спасение. После них путникам уже не за что было зацепиться. Утром положение стало критическим.

Шмидт и Громов перебрались на каяке через очередное разводье. Матрос Иванов возвращался назад, чтобы доставить географа Иванова. Но того отнесло так далеко, что Шмидт мог разглядеть своего товарища только в бинокль. А в это время льдина, на которой находились Шмидт и Громов, все быстрее уплывала на юг. И хотя ее курс проходил мимо острова Мертвого Тюленя, перебраться на него без лодки путники не могли — остров со всех сторон окружала вода.

Но тут им повезло. Неподалеку от островка сел на мель айсберг. И льдина зацепилась за его скользкий бок. Однако это лишь отсрочка. Шмидт и Громов пробуют влезть на айсберг, но не могут забраться по вертикальной ледяной стене. «Остается ждать в мучительном бездействии. Льдина от айсберга скоро оторвалась и понеслась с быстротой хорошей лодки. А двух Ивановых все нет. Наконец, появляются. Матрос вконец устал. Я предлагаю И. М. Иванову (географу) немедленно грести дальше против течения, отвезти Громова на о. Мертвого Тюленя. Он как будто понимает опасность, но тоже устал. Едут, я в бинокль слежу. Расстояние между нами увеличивается, но как ничтожно продвижение на север к островку, мимо которого давно промчалась наша льдина».

В это время матрос Иванов сдает. Он, бывалый моряк, может, один из тех, кто недавно потешался в кубрике над неопытностью в морских делах Шмидта, отказывается дальше бороться за жизнь. Иванов знает, что еще у тех двоих в каяке есть шансы спастись, а он и начальник экспедиции практически обречены.

Через несколько лет Шмидт вспоминал: «Матрос, который был со мною, оказался слабым, лег на снег и сказал, что он никуда не пойдет и ничего делать не

будет, потому что все равно умрет». В дневнике этот эпизод описан по-иному. Видимо, только что пережитое не позволяло слишком строго судить товарища по путешествию: «Согреваю матроса моими теплыми вещами, он закусывает. Я высматриваю путь к спасению. Становится все более ясно, что нас может пронести мимо земли... Вижу в бинокль, что лодка у острова — 2 км от нас, Иванов должен повернуть, но его долгое время не видно...

Мы с матросом видим, что дело плохо, Иванову нас не догнать. (Значит, Шмидту удалось как-то поднять матроса, уговорить, что сдаваться рано! — И. Д.). Начинаем соображать, что самим делать. Воспользовавшись столкновением двух льдин, перепрыгиваем и бросаем вещи на подошедшую сзади и от толчка несколько заторможенную, с нее на третью, на четвертую — каждый раз, как представится случай. Мы при этом мало приближаемся к берегу Кельти, но переходим на льдины, дрейфующие все с меньшей скоростью. Мы явно выходим из быстрого потока, мы близки к спасению. Первоначальная наша льдина давно уже пронеслась мимо земли, но мы задерживаемся. Нас догоняет Иванов на каяке, и втроем мы, то переезжая, то таща лодку со льдины на льдину,.. выходим... на южную оконечность острова Кельти. Все спасены! У всех сквозь свинцовую усталость не только радость, но какое-то детское веселье».

Однако Громов — на острове Мертвого Тюленя. Он отрезан от своих товарищей, не знает их судьбы и поэтому решается на отчаянный шаг — любым путем, пусть даже вплавь, добраться до зимовки, чтобы организовать поиски Шмидта и двух Ивановых. От острова Мертвого Тюленя до Скотт-Кельти всего 500—600 метров. Но без лодки их не преодолешь — хоть и впрямь плыви. Однако с Кельти замечают ме-

чущегося по льду Громова. Матрос Иванов отправляется за ним в каяке. Вскоре каяк уже возвращается обратно на Кельти с Громовым на борту. И вот через 18 часов после выхода с «Седова» все четверо снова вместе, в безопасности — на суше.

Обессиленные, они кое-как расставляют палатку, наскоро ужинают и валяются спать. А среди ночи Шмидт слышит сквозь сон близкие гудки парохода. Это Воронин, воспользовавшись тем, что ветер разогнал лед, привел «Седова» к острову Кельти, к северному его мысу.

Здесь у каменной пирамиды они договорились встретиться в том случае, если четверка не сможет добраться до станции. Шмидт и его спутники бегут сквозь ветер и метель к северному мысу. Громов первым замечает «Седова», стреляет в воздух и слышит ответный гудок. С ледакола спускают шлюпку.

Наконец четверка на борту. У трапа Воронин — бледный, осунувшийся, будто он сам только что проделал вместе с ними многокилометровый путь по льдам.

Громову запомнились короткие реплики, которыми обменялись при встрече Шмидт и капитан.

— Ну вот, — сказал Отто Юльевич усталым голосом, — наконец-то мы дома.

— Поздравляю, — сурово бросил капитан Воронин, — вы были на пороге смерти.

А еще через несколько часов ледакол входит в бухту Тихую. Шмидт убеждается, что, в то время пока «Седов» совершал свое рекордное плавание, на берегу полным ходом шла работа. Дома построены, с Большой Землей налажена надежная радиосвязь. Шмидт торжественно открывает первую советскую полярную станцию на Земле Франца-Иосифа. Все. Задание экспедиции выполнено полностью. Строители на борту «Седова». Можно и нужно уходить.

Но перед самым отплытием на долю Шмидта выпадает еще одно приключение: «В... последнюю ночь я не спал. Мне захотелось еще раз посмотреть, все ли в порядке. Я вызываю матроса, и мы с ним поехали на берег. Я все проверил. Возвращаясь обратно, наскочили мы на льдину — лодку разбили. Мы попали в воду, а затем выбрались на разные льдины, но благодаря низкой температуре сразу замерзли. Нас заметили с ледокола и перевезли на него, но мы настолько заоченели, что по трапу сами подняться не могли, и нас подняли лебедкой, как груз.

Матрос Терентьев, который со мной был, после рассказывал:

— Ну, братцы, и испужался же я. Думал, конец мне, засудят.

— За что же тебя засудят?

— Как же, комиссара потопил!

— А что же ты его не спасал?

— А я думал, что он за меня держаться будет и меня с собой потопит.

После этого случая мы с матросом Терентьевым очень подружились».

Но еще более подружился он именно после истории в бухте Тихой с капитаном Ворониным. Ведь это благодаря его мастерству «Седов» пробился к острову Скотт-Кельти, снял Шмидта и его спутников. Воронину обязаны они были своим спасением.

Однако дело не только в этом. История с неудачным походом ясно показала и Шмидту и капитану, в чем силен каждый из них. Воронин увидел, что есть такие ситуации, когда необходимо идти на риск, когда даже поморская мудрость — не лучший советчик, ибо она четко расписывает, что можно делать и что нельзя, тут же обстоятельства требуют совершить невозможное. Ведь вроде бы правильно все рассчитал, когда говорил: надо уходить, а что полу-

чилось? Не предприми Шмидт свой отчаянный поход, так и ушли бы, не зная положения на станции, не взяв на борт плотников.

А Шмидт понял, что на предостережения капитана опасно не обращать внимания. Конечно, «безумство храбрых» — прекрасно. И бывает, когда именно на «безумство» вся надежда. К таким ситуациям он относил и ту, что сложилась вечером 27 августа, а потому и после возвращения на «Седов» считал, что поступил правильно, отправившись по льду к зимовке. Но тут случай чрезвычайный. Вообще же — он это хорошо понимал — страстный порыв должен контролироваться опытом, веками нажитой мудростью — всем тем, чем в полной мере обладал капитан.

Словом, ему стало ясно, что он и Воронин хорошо дополняют друг друга, что именно это «единство противоположностей» и нужно для руководства экспедицией.

Идиллии, правда, после бухты Тихой не наступило, не могло наступить. Шмидт и потом несколько раз без достаточных на то оснований упрекал Воронина за излишнюю осторожность, но когда «Седов» пришел в Архангельск, Шмидт и Воронин расстались друзьями.

Арктику Шмидт покидал с грустью: «Мучительно жаль уходить. Так и остался бы, кажется, на зимовку. Хочется растянуть, хочется хоть на день еще продлить плавание».

Он не знал, что его связь с Заполярьем продлится не дни, не недели, что на годы она будет основным его поприщем, что вскоре ему предстоит стать главой всех полярников страны.

Это все было впереди. Но когда весной 1930 года Шмидту снова предложили пойти в ледовое плава-

ние, он с радостью согласился. И первым среди своих будущих спутников назвал Воронина.

И уж на этот раз начальник экспедиции и капитан были неразлучны в течение всего рейса. Леонид Муханов, секретарь Шмидта, участник второго похода «Седова», вспоминает: «Бывало, никак не прервешь их беседу. Когда они спали — не уследишь. Так друг за другом и ходят. Капитан на вахту — Шмидт с ним. Придут, покушают и говорят или вслух читают книги. Разлучала их только наблюдательная бочка, укрепленная на передней мачте. Как только ледовая обстановка ухудшалась, капитан Воронин залезал в бочку, которую мы в шутку прозвали «воронье гнездо». Отто Юльевич, бывало, посматривает наверх да время от времени спрашивает через рупор: «Как лед?» Если бы в бочке было просторнее, так они вдвоем бы и сидели рядом».

Плавание «Седова» летом 1930 года было на редкость удачным. За неполных два месяца экспедиции удалось побывать на Земле Франца-Иосифа, на Новой Земле, открыть шесть небольших островов в Карском море, достичь Северной Земли и построить здесь станцию. Ледовая обстановка в тот год оказалась значительно легче, чем в предыдущем. Но успех экспедиции был обеспечен и благодаря тому, что теперь на борту судна работал слаженный коллектив людей, «притершихся» в плавании 1929 года, который возглавляли два неразлучных друга.

Во вторую экспедицию «Седова» «арктическая учеба» Шмидта продолжалась. Он сам позднее осуждал иные свои скоропалительные выводы.

Однажды в конце экспедиции капитан пришел к Шмидту и сказал, что на горизонте — остров. «Островная мания» уже много раз подводила седовцев. Жажда открывательства охватила всех, поэтому нередко за острова принимали айсберги, скопления

льдов. Но Воронин в этих грехах не был повинен. Начальник же экспедиции почему-то решил, что и на сей раз повторится та же комедия. «Я ему говорю,— вспоминает позднее Шмидт,— что это, вероятно, туча. Капитан мне отвечает: «Верьте мне, это остров. Я уже нанес его на карту». Я снова заявляю, что никаких ... оснований к этому нет. Капитан рассердился и настаивает: «Идем ближе»... Дал полный ход и через тяжелый лед повел корабль к острову, к которому подошел ночью. Он разбудил меня... действительно, мы были у острова. Пришлось извиняться. Затем я уехал в отпуск и узнаю, что издана карта нашего плавания и этот остров в назидание мне назван именем Шмидта...»

А другой остров, открытый «Седовым», в честь капитана был назван островом Воронина.

Так летом 1930 года на карте появились имена двух друзей. Географическое положение «их» островов словно бы подчеркивало несхожесть характеров начальника экспедиции и капитана. Остров Шмидта находится неподалеку от северной оконечности архипелага Северная Земля, остров Воронина — несколько западнее самой южной его точки.

Дать острову имя капитана предложил Шмидт. После плавания 1930 года он в полной мере оценил достоинства Воронина. В докладе, посвященном итогам экспедиции, Шмидт говорил: «От экипажа ледокола зависит очень многое, а от капитана — больше половины успеха... Капитан В. И. Воронин не только великолепно ведет судно, но интуитивно чувствует, как его надо вести... И, что очень важно, В. И. Воронин отличается редким для капитана пониманием целей и значения наших научных исследований... Это великолепный капитан исследовательского судна».

Да, многое изменилось в его оценках со времени

торопливых дневниковых записей, помеченных июлем 1929 года. Его суждения о делах Арктики обрели ту мудрость и глубину, которая была вообще свойственна Шмидту. Сам он, понимая это, говорил, что на «Седове» прошел арктическое крещение.

Конечно, два коротких похода — недостаточный багаж для полярного мореплавателя. Но Шмидт умел «прессовать» время, умел постигать науки «по краткому курсу». Этой своей способностью он поразил летом 1927 года крупнейших математиков мира в Геттингене. А три года спустя — людей совсем иного склада, тружеников холодных морей, посвятивших жизнь Арктике.

Любовь к первоисточникам

Но сколь резким ни казался бы поворот судьбы нашего героя, превративший государственного деятеля в арктического морехода, был он все же лишь следствием того, что произошло в его биографии двенадцатью годами раньше — в год, когда круто и безвозвратно изменилась судьба всей России.

Тогда, летом 1917 года — точнее, в начале июня, — приват-доцент Киевского университета двадцатипятилетний Отто Юльевич Шмидт, отправившись в Петроград по делам службы (впрочем, службы весьма своеобразной), остался в этом городе, ибо решил, что сможет понять проносящийся над страной вихрь событий лишь в том случае, если все главные события увидит собственными глазами. К формированию своего мировоззрения он подошел как ученый. Известно — люди науки, изучая взгляды коллег, по вполне очевидным соображениям обращаются не к изложению этих взглядов в статьяж других специалистов

и даже не к переводам их трудов, а непосредственно к первоисточнику.

Но откуда у приват-доцента, уже известного своими работами в области абстрактной теории групп, появилось острое желание разобраться в конкретной политической обстановке тех бурных дней? Ведь никак нельзя сказать, что тогда миграция провинциальных доцентов в Петроград за мировоззрением была явлением массовым. Что же побудило Шмидта отправиться в эту поездку?

Тут нам придется вернуться к истокам, к началу его жизни, и (следуя традиции нашего героя) к первоисточникам, к его собственным рассказам о годах молодости, к документам тех лет.

Его отец, потомок немецких крестьян-колонистов Лифляндской губернии, сам крестьянствовать не стал, а пошел по торговой части. Долгие годы служил он приказчиком у купца в Могилеве, где и родился Отто. Поднакопив деньжат, отец открыл небольшой писчебумажный магазин, но вскоре был задавлен более мощными конкурентами — прогорел. И позднее уже служил в различных торговых заведениях, фирмах, страховых агентствах. Доходы семьи были весьма ограничены, их явно не хватало на то, чтобы дать всем детям хотя бы среднее образование. Поэтому, когда подошло время определять судьбу Отто, его отец и мать обратились за поддержкой к многочисленному родственному клану.

Через много лет Шмидт рассказывал об этом событии: «Я до сих пор с жутью вспоминаю разговор, подслушанный мною поздно вечером, когда собрался большой семейный совет — приехали оба дедушки и дядья. Мне, восьмилетнему мальчику, пора было спать, но я не спал и слушал разговор взрослых. Это все были положительные немцы...

Один из моих родственников предлагал обучить

Шмидт — студент
Киевского университета.



О. Ю. Шмидт и В. И. Воронин
во время экспедиции
«Георгия Седова» (1930 год).





Лагерь Шмидта в Чукотском море (1934 год).



**Экспедиция на Северный полюс (1937 год).
М. В. Водопьянов, О. Ю. Шмидт, М. И. Шевелев.**



Доклад о новой теории происхождения Земли (1948 г.).



О. Ю. Шмидт
и профессор
А. Г. Калашников.

меня портняжному ремеслу, другой — сапожному ремеслу. Но тут вмешался дедушка и сказал: «Нужно дать образование этому мальчику, он способный».

Чем же еще вооружила семья молодого человека, вступающего в жизнь?

«Мой отец,— вспоминал Шмидт,— чрезвычайно увлекался религией и в промежутках своей деятельности приказчика магазина и продавца занимался религиозными проповедями среди немецкого и латышского населения... Обстановка в семье была взвинченная, мистическая, полдня уходило на молитву...»

Казалось бы, в зрелые годы у него было основание посетовать на родителей, выпустивших его в мир со столь обременительным багажом: почему, мол, сразу не научили правильно. Но только слабые духом боятся проб на изгиб и излом. Шмидт принадлежал к иной породе: «Хорошая сторона религиозности заключалась в том, что я получил возможность основательно изучить ряд богословских дисциплин... могу цитировать из библии и разбираться в богословских вопросах. Все это очень хорошо, ибо к моменту, когда я немного созрел, то есть к 15—16 годам, я мог критически отнестись к религии... и переход от религиозности к атеизму у меня совершился сразу в соответствии с возрастом, когда я приобрел возможность критического суждения».

Шмидт почувствовал себя атеистом примерно тогда, когда, закончив гимназию, поступил на физико-математический факультет Киевского университета. Но переход к безбожию в то время отнюдь не был уникальным явлением в студенческой среде. Мы знаем, что еще во второй половине XIX века появились в России нигилисты, сильно напугавшие обывателя. А уж в начале нашего столетия атеистов, особенно среди естественников, было, пожалуй, не мень-

ше, чем верующих. Но отказ от религии вовсе не предполагал перехода к марксизму, с которым связана ясная и четкая политическая ориентация. И вот обрести эту ориентацию удалось не многим естествоиспытателям, отринувшим бога.

Надо сказать, что Шмидту также переход к марксизму дался намного труднее, чем отказ от религии, и времени он потребовал куда больше, и напряженнейшей работы мысли. Тем более, что и в этом отношении родители, как вспоминает Шмидт, готовили его к совершенно другой участи: «Было ли что-нибудь революционное в этом (семейном) воспитании? Абсолютно нет. Семья учила повиновению всяким властям, и власти царя в первую очередь».

Но жизнь учила другому. 1905 год Шмидт встретил в Одессе: ««Потемкина» я помню, видел его, видел пожар гавани, видел бомбардировку большой лестницы и очищение ее казаками. Затем дальнейшее развитие событий 1905 года, сравнительно робкие революционные выступления и, наконец, жесточайший еврейский погром. Я не сразу разобрался в этих уроках. Прошло года три, прежде, чем в этом деле разобрался, но во всяком случае это было мощным толчком к тому, чтобы заставить меня мыслить политически».

Однако политические его взгляды не только через три года после первой революции, но и через десять лет весьма расплывчаты. И, учась в университете (1909—1913 годы), он никакого участия в революционном движении не принимает, чему, видимо, в большой степени содействовал стиль жизни этого учебного заведения. «Киевский университет,— рассказывал Шмидт,— был одним из самых реакционных в царской России и официально мог формировать мировоззрение только в отрицательной форме...»

Поступив в университет, он с жадностью набро-

сился на изучение самых разных наук. Эта жадность не знала предела. На первом курсе он составил примерный список книг, которые собирался изучить. Но с грустью убедился, что даже при самом уплотненном графике занятий на то, чтобы одолеть его, понадобится 1000 лет. Он стал вычеркивать все, без чего можно обойтись. Но для оставшихся в списке трудов требовалось 250 лет. Тогда он сократил сон до шести, пяти, а потом и четырех часов.

В те годы он приучил свой организм восстанавливать силы в короткий срок и потом всю жизнь спал удивительно мало. Это было одной из причин, почему Шмидт, когда возникла необходимость, мог одновременно занимать несколько ответственных постов, успевая детально вникать в дела каждого ведомства.

Естественно, что более всего времени он затрачивал в студенческие годы на свою специальность — математику и добился выдающихся результатов. В последний университетский год Шмидта его учитель профессор Дмитрий Александрович Граве подает в деканат представление о публикации большой рукописи своего ученика «Абстрактная теория групп». «Уже с самого начала,— писал профессор,— выделился и далеко оставил за собой других товарищей студент 5-го курса О. Ю. Шмидт. С быстротой, характеризующей выдающийся математический талант, г-н Шмидт овладел предметом и с увлечением предался теории групп... Шмидт проявил большую требовательность и часто приводил слушателей в восторг своими неожиданными, остроумными, более простыми, чем у предшественников, доказательствами...»

Позднее за эту работу университет удостоил Шмидта золотой медали имени профессора Рахманинова. И этой наградой он был как бы введен в клан избранных — лучших математиков своего времени. А ему еще и 25 не стукнуло!

Но круг интересов студента Шмидта гораздо шире избранной специальности. В списке на 250 лет множество книг по истории, философии, естественным наукам. При этом у него еще хватает времени, чтобы изучать языки, давать уроки, значительно пополняя этим традиционным студенческим приработком свой бюджет. Регулярно бывает он в театре и как завзятый театрал в особую книжечку записывает названия спектаклей, на которых удалось побывать. Особенно часто ходит в оперу, полюбившиеся произведения слушает по три и даже по четыре раза. Аккуратно, с усвоенной от дедов и прадедов тщательностью, ведет он учет всех своих расходов.

Словом, перед нами примерный молодой человек: старательный, талантливый, трудолюбивый. При этом студент вполне благонадежен, и его политическая репутация почти безупречна. О единственном маленьком пятнышке на ней за все годы учебы Шмидт сам позднее вспоминал с иронией: «По окончании университета я был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию. Но как ни малы, как ни ничтожны были мои выступления, меня не хотели оставлять при университете, так как я все-таки был оштрафован на 2 рубля генерал-губернатором за участие в студенческой сходке... Но так как я учился хорошо, то профессора это дело уладили. Это я привожу в качестве маленького анекдота того времени».

Став в 1913 году «профессорским стипендиатом», Шмидт получает доступ к секретной части университетской библиотеки. Здесь хранятся старательно оберегаемые от студенческих глаз революционные книги, в том числе многие работы Маркса и его последователей. Шмидт изучает их с большим интересом и начинает причислять себя к числу сторонников марк-

совой теории. Позднее, правда, он говорил, что в те годы настоящим марксистом еще не был.

Наступает лето 1914 года — мировая война. Волны официального патриотизма захлестывают города России. Они подхватывают и многих интеллигентов, прежде не подверженных шовинистическому угару. Один из популярных поэтов пишет стихи, которые повторяют на всех перекрестках: «Когда страна в огне и нет воды, лей кровь, как воду. Хвала войне! Хвала народу!»

Шмидт не воздаст хвалы мировой бойне. Чтение марксистской литературы не прошло впустую. Он занимает последовательно интернационалистскую позицию. Сам он как профессорский стипендиат от военной службы освобожден. Вместе с университетом Шмидт эвакуируется в Саратов, где сдает последние экзамены.

В 1916 году университет возвращается в Киев. Приезжает сюда и Шмидт, уже ставший приват-доцентом. Освобожденный от недавней зубрежки мозг остро реагирует на все, что происходит вокруг. Даже в самом облике Киева, хорошо знакомого Шмидту, что-то изменилось. Он стал насупленным, суровым. Недовольство войной, неразберихой, царящей в стране, высказывают теперь почти безбоязненно — на базарах, в вагонах конки, в лавках, в харчевнях. Оно вот-вот выльется на площади шествиями демонстрантов. В России идет незримая работа: что-то готовится, кипит, зреет — кажется, в самом воздухе носится идея революции.

Даже сквозь стены благопристойного университета проникают новые веяния. Здесь создается организация «Молодая Академия», объединившая профессоров и преподавателей, недовольных затхлым духом «одного из реакционнейших университетов России». Входит в нее и Шмидт. Но пока вся деятель-

ность «Академии» — долгие обсуждения, пышные речи, витиеватые призывы.

И вот февраль 1917 года приносит из Петрограда весть о свержении царя. Еще непонятно, куда и как повернет Временное правительство. Но его первые шаги встречают сочувствие Шмидта. Он готов принять участие в преобразовании страны. Решив на время частично пожертвовать математическими интересами, он предлагает свои услуги Киевской продовольственной управе. Управа пытается наладить порядок в снабжении города предметами первой необходимости. Энергичный приват-доцент становится заместителем начальника отдела карточной системы.

Под руководством Шмидта работают десятки служащих. Они пытаются взять под свой контроль ввоз зерна в город, работу мельниц, пекарен, хлебных лавок, вводят карточки на хлеб, сахар, керосин. Причем образцы этих карточек долго и старательно разрабатывает сам Шмидт.

Однако вскоре и университет становится ареной его общественной деятельности. Здесь создается совет младших преподавателей. Шмидта избирают его председателем.

Тихий университет в считанные дни превратился в кипящий котел. В его аудиториях лекции теперь читаются редко, зато почти непрерывно идут митинги и собрания. Студенты совсем не думают об учебе. Руководство университета не в силах обуздать стихию. И совет младших преподавателей решается взять на себя посреднические функции. Сохранилось написанное рукою Шмидта обращение совета к студентам: «В сознании текущего момента государственной жизни и в связи с событиями, имевшими место в Университете Святого Владимира, мы, младшие преподаватели университета, постановили обра-

тяться к студентам с призывом: прекратите доступ посторонних в университет. Университет нужен России как свободная школа, для собраний же граждан должны быть даны другие помещения...»

Одновременно совет младших преподавателей обращается и в совет профессоров с призывом к совместным действиям ради сохранения порядка в университете. Но студенты убеждены, что революция — неподходящее время для учебы, они не намерены вернуться к занятиям. Дискуссия между студентами и преподавателями привлекает внимание всего города.

...Среди бумаг Шмидта многие десятилетия хранился номер газеты «Киевлянин» за 28 апреля 1917 года. Можно с большой долей достоверности утверждать, что именно в этот день впервые имя Шмидта появилось на страницах общедоступной прессы. До чего же интересно читать сегодня, шестьдесят лет спустя, этот документ! Неразбериха газетных полос будто передает неразбериху, что была в головах у многих людей в те дни. И вряд ли Шмидт был в этом смысле исключением.

Номер почему-то открывают некрологи. Не фронтовые, не военные — самые обычные. Накануне «почили в бозе» купец второй гильдии, чиновник и малолетняя девочка, о чем скорбящие родители сообщают, не жалея денег на крупный шрифт. А рядом — впритык — лепится самая разнородная реклама, доказывающая, что, несмотря на чьи-то смерти, жизнь берет свое.

Куда-то в уголок полосы закатился краткий обзор «Среди газет»: «Братание на фронтах,— гневно пишет автор,— осужденное почти всей прессой, за исключением ярко выраженной большевистской, находит защитника в киевской газете «Голос социал-демократа», которая восторженно восклицает, что

братание — этот красивый лозунг беспочвенных на первый взгляд мечтателей — претворяется на наших глазах в плоть и кровь... Фразы... Фразы... И под прикрытием этих фраз, без толка вылетающих из уст русских фанатиков, немецкие разведчики подготавливают почву к созданию успеха предстоящему немецкому наступлению».

Эти отрывки и строки — контекст времени, когда выступает на арену общественной деятельности Шмидт. Нам сегодня легко двумя фразами поставить на место торопливого газетчика, отсеять зерна и плевелы в сумбуре петитных строк. А ведь ему, двадцатипятилетнему, все это еще предстояло освоить, осмыслить, во всем разобраться. Даже для столь недюжинного ума — совсем нелегкая задача! Стоит ли удивляться, что взгляды Шмидта в те месяцы — противоречивые и путаные.

В том же номере «Киевлянина» чуть не половину полосы занимает подробный репортаж с объединенного заседания Советов рабочих и военных депутатов, на котором решался «вопрос о продолжении или прекращении занятий в учебных заведениях».

Представитель студенческого коалиционного совета в длинной и пламенной речи убеждает своих однокашников, что страна «нуждается в культурных работниках... она может и должна использовать те культурные силы, которые имеются в среде студенчества». Он предлагает занятия прервать, экзамены или отменить или отложить до осени. Как именно надо использовать «культурные силы»? Что конкретно студенты должны делать? Почему работать на революцию надо только в летнее время? Ответов на все эти вопросы мы не найдем у пламенного оратора.

Заседание продолжается. Подходит очередь Шмидта подняться на трибуну. «Представитель

младших преподавателей г. Шмидт приветствовал студенчество, идущее работать на общественной ниве, но вместе с тем указал, что в настоящее время целесообразнее использовать все силы для обслуживания всех сторон общественной работы... Он полагал, что наиболее способная часть студенчества могла бы успеть и держать экзамены, и работать на общественной ниве. Если кто-нибудь в настоящее время подготовлен к экзаменам — пусть их держит... Кто не подготовлен, пусть держит осенью».

Вряд ли эта речь приват-доцента обогатила собрание конструктивным предложением. Как мы помним, недавно он был категорически против прекращения занятий. Теперь его позиция половинчатая: «с одной стороны, нельзя не приветствовать, с другой стороны, нельзя не напомнить». И Шмидт, которого всегда отличала высокая требовательность к себе, конечно, чувствует неудовлетворенность своим выступлением. А затем — своей общественной деятельностью, которая, отнимая много сил, приносит далеко не богатые результаты.

Это чувство неудовлетворенности со временем усиливается. Проходит еще месяц, и университет снова попадает в поле зрения газетчиков. На сей раз конфликт разыгрался в связи с выборами ректора. Совет младших преподавателей здесь снова пытался выступить в роли посредника между профессорами и студенчеством. Была достигнута договоренность, что на должность ректора может быть избран только тот, кто пользуется поддержкой всех трех «коллегий»: студентов, младших преподавателей, профессоров. Перед выборами совету профессоров был передан список желательных кандидатов. Однако ректором избран профессор Цытович, имя которого не значилось в списке.

Младшие преподаватели негодуют, отзывают

своих представителей из согласительной комиссии, уговаривают прогрессивных профессоров присоединиться к ним, разоблачают реакционных, грозят, что вступят в более тесный контакт со студентами, посылают делегацию к Цытовичу — убеждать, чтобы он подал в отставку. Словом, шум поднят на весь город, а толку опять мало. Цытович ректорское кресло оставлять не намерен. Потому, объясняет профессор, что его уход может быть воспринят как проявление трусости или малодушия, а он не собирается пятнать свое имя. Совет профессоров отказывается пересматривать принятое решение. Профессора говорят, что хотели выбрать ректора, удобного трем «коллегиям», но все кандидаты, которые устраивали студентов и младших преподавателей, от ректорского места отказались. Вот и выбрали Цытовича. Теперь, мил — не мил, надо признавать.

Не помогает совету младших преподавателей и вмешательство прессы. Тогда молодые воители обращаются к городским властям, чтобы те помогли реформировать реакционный университет. Но в городских органах самоуправления, подчиненных Временному правительству, испугались крайних требований младших преподавателей и предложили им подождать, пока в Петрограде соответствующее ведомство издаст соответствующий закон. Опять успеха добиться не удалось!

Шмидт не мог из этих событий не сделать для себя вывода. Заниматься пустым фразерством не входило в его намерения. Он привык тратить время на полезные дела. Здесь же что-то с самого начала было задумано неверно, начато не с того конца.

По-иному теперь смотрит он и на свою деятельность в продовольственной управе. Конечно, кое-какие сдвиги в снабжении населения хлебом и сахаром есть. Но разве можно сказать, что здесь восторжество-

вала справедливость? Лавочники на каждом шагу обманывают управу. Одного удается схватить за руку, а десять становятся изобретательнее и воруют более искусно. У них круговая порука, они все время умудряются найти высоких покровителей. И управа не в состоянии разоблачить все махинации хозяев мельниц, пекарен, булочных. Значительная часть хлебного потока попадает в руки спекулянтов, не доходит до полуголодного городского люда.

Шмидт никогда не был сторонником полумер. Изощенный ум математика, исследователя, всегда стремящегося проникнуть в суть вещей, подсказывал ему, что неудачи на столь разных фронтах, как университет и продовольственная управа, имеют некую общую причину. Позднее он найдет ее и сформулирует с присущей ему четкостью: «Я убедился в том, что никакой прогресс невозможен отдельно в науке и просвещении без прогресса политического». Но это было позднее, это уже ответ, решение задачи, а в мае 1917 года ему еще предстояло его найти, открыть для себя. И он понимает, что Киев, куда докатываются лишь отголоски главных событий, причем иной раз сглаженные, в другой раз и вовсе искаженные, не самая лучшая географическая точка для таких поисков. Чтобы до конца понять происходящее, чтобы найти свое место в вихре событий, надо быть ближе к их эпицентру. Надо обратиться к первоисточнику.

Шмидт принимает решение — перебраться в Петроград. Впрочем, решение это, возможно, еще не было столь категоричным. Может, еще не перебраться, а поехать посмотреть. Тем более и случай представляется очень удобным. В столице назначено совещание по делам высшего образования. И совет младших преподавателей Киевского университета посылает Шмидта на совещание своим делегатом.

Одновременно киевская продовольственная управа должна решить в Петрограде несколько важных дел. Шмидт отправляется в столицу, вооруженный сразу двумя мандатами.

Официально он не ставил свое начальство в известность о том, что может остаться в Петрограде. В удостоверении продовольственной управы, выданном 9 июня 1917 года, строго оговорено, что помощнику заведующего отделом карточной системы приват-доценту О. Ю. Шмидту «необходимо вернуться 19 июня в Киев к исполнению служебных обязанностей».

Правда, до его прямого начальника по управе слух о планах Шмидта все же дошел, и он обратился к своему помощнику с прочувствованным письмом: «Узнав о Вашем намерении переехать в Петроград, позволю себе выразить Вам свое глубокое искреннее сожаление. За три с половиной месяца работы в отделе Вы стали незаменимым работником... Ваш уход явится тем более тяжелым испытанием для отдела, что совпадает с введением карточной системы на дрова, при которой особенно были бы потерей Ваши... блестящие способности...»

В тот же день 9 июня (видимо, это был канун отъезда — совещание в Министерстве народного просвещения открывалось 12 июня) Шмидт получил еще одно послание — от двух незнакомых дам: «Милостивый государь! Простите за беспокойство в поздний час. Пришли к Вам с просьбой от имени Совета Младш. препод. Киевск(ого) Женск(ого) Мед(ицинского) Института взять на себя любезность... узнать, почему Совет Младш. препод. КЖМ Ин-та не получил приглашения прислать своего представителя на... совещание... Надеемся, что настоящей просьбой не слишком Вас затруднили. Просим по возвращении из поездки сообщить нам о результатах... С сов. почте-

нием Председ. Сов. Мл. пр. КЖМИ д-р медицины В. Бергман и делегат д-р медицины А. Крондовская».

Бедные милые докторицы! Как же неучтиво обойдется с вами тот, кому адресована ваша изысканнейшая записка! Презрев законы джентльменства, останется он в Питере, чтобы делать там настоящую, всамделишную революцию, которая скоро перевернет страну и навсегда исключит из употребления так хорошо освоенный вами слог. А сам «милостивый государь» всего через полгода потеряет право на это ласкающее слух обращение, навсегда превратившись просто в товарища.

...Легко себе представить, в каком возбужденном состоянии стоял Шмидт у окна вагона, провожая глазами холмы убегающего назад Киева, высокий днепровский берег, знаменитый памятник князю Владимиру над речным обрывом. Со всем этим он прощался по-молодому легко, без печали и сожаления, всем существом своим предчувствуя радость новых дорог, встречу со столицей, о которой так много было прочитано и в которой он никогда еще не был. А главное: чувствовал он радостную готовность безоглядно изменить свою судьбу, готовность рвануться на встречу новым, неведомым прежде идеям, которые — он верил в это — будут заново формировать весь уклад жизни России...

Но в Петрограде все тоже сложилось непросто и не сразу. Первые два месяца он жил как в тумане — бегал с митинга на митинг, с собрания на собрание, вслушиваясь, всматриваясь, вбирая в себя революционный гул. Потом встали обычные ежедневные заботы, в том числе и самая простая — о хлебе насущном, который надо где-то зарабатывать. Можно было поискать место в одном из учебных заведений, но Шмидту хотелось, чтобы новая работа была ближе

связана с повседневными заботами страны. Поэтому он пустил в дело не университетский, а продовольственный мандат.

С этого момента в его делах появляются документы, написанные на бланках петроградских учреждений. Вот первый из них. «Министерство продовольствия. Канцелярия. Петроград. Аничков дворец. О. Ю. Шмидту. Приказом по Министерству продовольствия от 9 августа 1917 года за № 29 Вы определены на службу по этому ведомству старшим делопроизводителем... отдела снабжения тканями, кожей и обувью Управления по снабжению предметами первой необходимости».

Шмидт невысоко ценил свою работу в роли делопроизводителя, по собственному его признанию, никаких особых дел он не производил: «Я очень легко получил, что называется, для хлеба, для прожития какую-то должность в Министерстве продовольствия, но не столько работал, сколько бегал по митингам, ориентировался в существующем положении и заводил связи».

Однако он не совсем бездельничал. Ибо всего через месяц с небольшим — 19 сентября — получил повышение и был назначен заведующим подотдела снабжения тканями. Впрочем, время было сложное, и кто знает, что именно содействовало его продвижению по службе в короткий и мало чем знаменитый период Временного правительства.

Наступило 25 октября 1917 года. Успел ли Шмидт за четыре петербургских месяца пройти полный курс политических наук? Нет, не успел. И он впоследствии этого не скрывал: «К Октябрьской революции я несколько не созрел. Я Октябрьскую революцию с классовой стороны всецело приветствовал и понимал ее историческое оправдание, но я тогда не верил в ее прочность и силу. Не верил, вероятно, главным обра-

зом потому, что у меня не было опыта работы с массами и я плохо понимал силу масс».

С приходом к власти большевиков Шмидт уже не может по-прежнему — с прохладцей — относиться к своей должности. В первые послеоктябрьские дни представители рабоче-крестьянского правительства только начинают осваивать руководство отраслями хозяйства. Между тем чиновники прежних министерств объявляют забастовку и саботируют все решения нового правительства.

Особенно опасное положение складывается со снабжением населения продовольствием. Здесь ведь все вопросы срочные, их никак нельзя откладывать не только на месяц, но и на несколько дней. Необходимо немедленно навести порядок в деле продовольственного снабжения. От этого во многом зависит судьба революции. Шмидт оказывается на одном из узловых пунктов борьбы за будущее страны. Размышлять, сопоставлять, прикидывать уже нет времени. Ситуация настоятельно требует от него действий. Понимает ли это недавний приват-доцент, которому всего месяц назад исполнилось 26 лет?

Вот написанный рукою Шмидта документ без даты, но по содержанию ясно, что относится он к ноябрю — декабрю 1917 года: «Среди служащих Министерства продовольствия образовалась организация «группа объединенных служащих Министерства продовольствия», предлагающая вступить в нее сослуживцев, разделяющих следующую платформу:

1. Экономическая и, в частности, продовольственная политика должна основываться на немедленном и планомерном проведении государственной регуляции промышленности, с одной стороны, и сохранении и углублении социалистических мер, регулирующих торговлю и распределение продовольствия — с другой.

2. Спасение родины возможно в деловом сотрудничестве всех социалистических партий, в том числе и большевиков.

3. Продовольственное дело должно оставаться совершенно вне политики.

Исходя из указанных пунктов, «группа объединенных социалистов» приветствует все шаги к установлению сотрудничества с органами Совета Народных Комиссаров и местными советами.

В согласии с теми же положениями группа отвергает политическую забастовку продовольственных работников и видит в забастовке Министерства печальную ошибку...

Организация группы имеет целью полное сплочение идейных работников Министерства, разделяющих ее платформу и пропаганду среди сослуживцев социалистической экономической политики».

Значит, месяцы в Петрограде не прошли даром. Автор этого документа никак не похож на первокурсника в политике, слепо тыкавшегося еще весной — во время киевских ристалищ — то в одну, то в другую сторону: «нельзя не приветствовать, нельзя не отметить». Правда, в политике он пока далеко не профессор, даже не приват-доцент. Ибо третий пункт его платформы — «продовольственное дело должно оставаться вне политики» — явно противоречит линии большевиков, решениям Совнаркома да и той жизненной практике, с которой столкнулся он сам еще в Киеве. Ведь если оставить снабжение продуктами «вне политики», если его удалить из контекста всей большевистской программы, той самой социалистической экономической политики, за которую ратует Шмидт, то все самые благие пожелания результата не дадут. А лавочники, хозяева мельниц, помещики, заводчики, как и прежде, будут наживаться на горе народа.

Впрочем, документ этот писался торопливо, на-скоро. Может, этим и объясняется необдуманый пункт программы? Главное же, что «место в рабочем строю» на этот раз определено. И, проводя в жизнь свой манифест, Шмидт добивается первого серьезно-го успеха на политическом поприще: «Мне удалось, главным образом благодаря личному влиянию, от-стоять Министерство продовольствия, которое не ба-стовало, а продолжало технически работать. Это нужно было, потому что иначе произошла бы дикая путаница со снабжением всех городов... В конце кон-цов, правда, через несколько месяцев и Министерст-во продовольствия забастовало, но было хорошо, что эту забастовку удалось оттянуть».

За эти несколько месяцев Министерство продо-вольствия перестает существовать. Возникает На-родный Комиссариат продовольствия. Во главе его с января 1918 года Совнарком ставит А. Д. Цюрупу. Еще раньше приходит сюда на работу Д. З. Мануиль-ский. «Товарищ Мануильский,—вспоминал Шмидт,— был первым крупным большевиком, с которым мне пришлось столкнуться и у которого мне пришлось много поучиться в бесконечных беседах и ежеднев-ной политической работе».

А учиться этот приват-доцент умеет!

Словно губка, впитывает он новые понятия, но-вые идеи, осваивает непривычные, неизвестные пре-жде методы работы. И всего через несколько месяцев Шмидт, заброшенный волной революции в Нарком-прод, становится одним из лучших его работников.

В марте 1918 года Советское правительство пере-езжает из Петрограда в Москву. Вместе с другими руководителями Наркомпрода перебирается в Моск-ву и Шмидт. Страна охвачена гражданской войной. Проблема снабжения молодой Красной Армии, мир-ного населения огромной страны — одна из главней-

ших для Советской власти. И решать ее приходится в первую очередь крошечному аппарату Наркомпрода, членом коллегии которого назначается Шмидт. Теперь он по горло занят неотложными насущными делами. Он один из творцов новой России, один из работников революции.

Шмидт составляет инструкции, по которым должна строиться работа продовольственных органов на местах, руководит формированием рабочих продовольственных отрядов, выступает инициатором создания рабочей продовольственной инспекции. Он готовит несколько проектов постановлений Совнаркома по вопросам продовольствия. Нередко Шмидт выполняет прямые указания Ленина, знакомство с которым и частые рабочие контакты оказывают огромное влияние на молодого члена коллегии Наркомпрода.

Наряду со множеством дел государственного масштаба Шмидту приходится часто решать и как будто мелкие вопросы, которые ставят приходящие и приезжающие из разных концов России рабочие, крестьяне, казаки. И все эти встречи с выходцами из разных мест и сословий, о многих из которых Шмидт прежде знал только понаслышке, расширяют, делают объемными его представления о России и ее народе.

«Дозревание» приняло у Шмидта необычную форму: «...в момент Октября у меня не было предвидения силы победившего пролетариата, но было достаточно образования в этой области, чтобы понять историческую закономерность явлений. В таком положении, в каком очутился я, было еще несколько товарищей... которые образовали группу социал-демократов-интернационалистов... В марте 1918 года на очередном съезде этой небольшой партии произошел раскол и образовалась группа левых интернационалистов, в которую вошел и я. Затем создалась

организация, которая называла себя «ЦК», но кроме членов ЦК в этой партии не особенно было много людей. Эта левая группа приняла программу РКП и никакой другой программы РКП не противопоставляла, оставляя, правда, за собой право расходиться по тактическим вопросам, но расхождений у нас никаких не было. Настоящий ЦК смотрел на нас так: ребята там дурят, но ребята хорошие... Стало ясно, что такая группа ни к чему... Поэтому был поставлен вопрос о слиянии с РКП... Мы были приняты в коммунистическую партию, и ввиду того что фактически выполняли все поручения ЦК и никакой другой программы не пытались ему противопоставлять, то нам зачли весь стаж пребывания в партии левых интернационалистов».

Первый поворот его судьбы на этом был окончательно завершен. Направление движения по жизненному поприщу избрано. И последовательно идя по нему, Шмидт стал членом коллегии Наркомпроса, членом президиума Госплана, заместителем начальника ЦСУ, начальником Главсевморпути, одним из руководителей Академии наук СССР, членом ВЦИК, депутатом Верховного Совета СССР.

Конечно, нельзя сказать, что в 1918 году было раз и навсегда закончено его формирование как человека, как политического деятеля. Занимая многие посты, он не только добивался блестящих успехов, но и совершал серьезные ошибки. На его долю выпало не только слышать одобрительные оценки, но и суровые слова критики. И все это было тоже учебой, жизненной школой, отлившей в конце концов характер Шмидта, который потом вызывал восхищение его современников — в том числе и тех, кто по своим взглядам был весьма далек от позиции коммунистов.

Воронин на «Челюскине» идти не хотел. В марте 1933 года капитан писал Шмидту из Архангельска: «Теперь самый главный лично для меня вопрос, Отто Юльевич. Вы знаете, как тяжело со мной работать, как я нервнобольной человек. Ведь даром не могли пройти такие тяжелые для судоводителя рейсы, какие проводил я под Вашим начальством в последние годы. Свои нервы истрепал, и теперь я для такой тяжелой работы, для плавания в Арктике, не годен. Вы мое здоровье, Отто Юльевич, знаете лучше всякого врача и, думаю, вполне согласны, что мне нужна работа полегче...»

Нет, Шмидт не был согласен. Более того, он точно знал, что его друг сильно преувеличивает свои болезни. А рейс предстоял очень трудный, и Шмидт не мыслил, что судном сможет командовать другой капитан.

Последнее плавание — годом раньше на «Сибирякове» — окончательно определило их отношения. Шмидт имел не один случай убедиться, что, несмотря на упрямый и капризный нрав Воронина, лучшего ледового капитана ему не найти. Теперь, в марте 1933 года, он мог со всей определенностью это утверждать: после рейса «Сибирякова» правительство приняло решение об организации Главного управления Северного морского пути — Шмидта назначили его начальником. Он был уже знаком со многими арктическими судоводителями, но все они по мастерству, по умению широко и масштабно мыслить уступали Воронину.

Плавание «Сибирякова», пожалуй, ни у кого не оставило сомнений, что Воронин — лучший ледовый

капитан страны. Ведь из почти невероятных положений они со Шмидтом находили выход!

Воронин справедливо писал, что рейсы его последних лет были тяжелыми для судоводителя. Плавание на «Сибирякове» — особенно. Задачу они перед собой поставили сложнейшую — пройти Северный морской путь в одну навигацию. И прошли!

Правда, большую часть пути — семь восьмых — все было благополучно: до самого Чукотского моря добрались без приключений. Зато здесь началось. Сперва об лед поломались три лопасти винта, и ледоколу нечем стало отталкиваться от воды. Лопастей можно сменить только в порту, когда судно вытасщено из воды на слип или поставлено в док, — это любой матрос-первогодок знает. Но Шмидт подсчитал: если четыреста тонн угля перебросить с кормы на нос, то винт выглянет из воды. И льдины тогда можно использовать как помост для лесов. Объявили аврал, за семь суток перетасцили уголь, сменили лопасти — и снова в путь.

Но потом случилось похуже: льды обломали конец гребного вала, и он вместе с винтом утонул. Беда непоправимая. Кто-то мрачно пошутил: «Сибиряков» теперь не ледокол — баржа ледокольного типа с паровым отоплением. А до мыса Дежнева — всего 150 километров.

Тогда Воронин с завистью сказал:

— Надо бы нам на паруснике идти! Тому что — винтов нет, задул ветерок — и погнал.

Шмидт схватился за эту идею. Вытащили брезентовые полотна, простыни и по указаниям капитана принялись кроить паруса. Но «Сибиряков» — не бригантина, тяжел, только на парусах через льды не прорвешься.

Сидели вдвоем: начальник экспедиции и капитан — думали, изобретали, прикидывали. И придумали

мали. Машина бессильна помочь ледоколу. Но якорная лебедка — брашпиль — работает. И ее тоже можно заставить двигать судно. Как это сделать? А вот как: якорь оттаскивают на руках по льду и цепляют за торос. Затем, наворачивая на барабан якорную цепь, брашпиль подтягивает ледокол вперед на несколько десятков метров.

А там, где лед сплошной и многослойный, в дело идет аммонал. Даже багры помогают «Сибирякову» — ими отталкивают от борта судна льдины.

Так 14 суток — с помощью парусов, брашпиля, взрывов и людских мускулов, метр за метром — к цели. И 1 октября они палили из ружей у мыса Дежнева — когда ледокол входил по чистой воде в Берингов пролив. Северный морской путь пройден в одну навигацию. Такое еще никому не удавалось за всю историю арктического мореплавания.

И вот теперь, когда надо развивать успех, капитан Воронин вдруг пишет про больные нервы. Нет, Шмидт не был согласен. Он ответил капитану еще одним длинным письмом — подробно объяснил вроде бы и так понятное: интересы дела — их общего дела, которому отдано уже столько сил, — требуют, чтобы именно Воронин принял «Челюскина». Капитан кому угодно бы отказал, но не уважить просьбу друга запрещали давние поморские законы. И он согласился.

У Шмидта спал камень с души. Ведь он сам еще в 1930 году говорил, что от капитана зависит чуть ли не половина успеха экспедиции. А успех был нужен, просто необходим. Не ради новых почестей, не ради рекордов.

Освоение Северного морского пути превратилось в те годы в неотложную задачу. Арктическая трасса должна была включить в общую систему хозяйства огромные пространства севера и северо-востока страны.

«Челюскин» вышел из Мурманска 10 августа 1933 года. Весь западный сектор Арктики и пролив Вилькицкого миновали благополучно. Два ближайших этапа — море Лаптевых и Восточно-Сибирское море — особых тревог не вызывали. Зато Чукотское море снова, как и год назад, забили тяжелые многолетние льды. Провести «Челюскина» (он был не ледокольным судном, а обычным пароходом, лишь немного более крепким, чем другие морские суда) через трудный участок пути должен был мощный ледокол «Красин». Но когда дошли до мыса Челюскина, стало ясно, что от его помощи придется отказаться: в Карском море «Красин» сломал об лед вал одной из трех своих машин и потерял добрую половину ледокольных качеств.

Это была первая неожиданность. О второй стало известно позднее, когда за кормой осталась уже большая часть моря Лаптевых. На «Челюскине» была получена радиограмма из Тикси от летчика Леваневского, который должен был обеспечить экспедицию авиаразведкой. Леваневский сообщил, что двигатель его самолета переработал положенное по норме количество часов, поэтому он не имеет права больше совершать полеты над льдами. Это значило, что отпал еще один вариант помощи экспедиции. Оставалось одно — пробиваться собственными силами.

Выйдя проливом Санникова в Восточно-Сибирское море, «Челюскин» двинулся нехоженым маршрутом — напрямую к острову Врангеля, куда должен был забросить стройматериалы для полярной станции и новую смену зимовщиков. Однако вскоре встретились мощные ледяные поля. Будь у Шмидта и Воронина сведения дальней авиаразведки, можно бы попытаться найти подход к острову. Но вслепую залезать в тяжелый лед слишком рискованно. Пришлось повернуть на юг — к Чукотке, а затем проби-

ваться от мыса к мысу. Ледовая обстановка день ото дня становится все более тяжелой. И вскоре «Челюскин», по словам Шмидта, не столько расталкивал льды, сколько вместе с ними в дрейфе медленно продвигался на восток.

21 сентября у входа в Колючинскую губу ледяной поток, который нес «Челюскина», остановился, упершись в выступ материка. Вместе с ним замерз на месте и пароход. Он простоял неподвижно две недели. Уходило время, льды спаивались все крепче, таяла последняя надежда.

Но 15 октября ветер резко изменил направление, льдины начали шевелиться. «Обстановка изменилась настолько быстро,— писал Шмидт,— что люди с трудом успели взобраться на пароход и спасти рабочий инструмент. Мы двинулись дальше в бурном и радостном подъеме».

Но льды снова сжали борта «Челюскина». И всего через несколько часов пароход уже не сам выбирал себе путь, а плыл по воле стихии. Целый месяц носило судно кругами по Чукотскому морю. Когда уже казалось, что ледовая карусель будет кружиться, как заведенная, до самого лета, дрейф неожиданно изменил направление на юго-восточное.

5 ноября льды выталкивают «Челюскин» в Берингов пролив. Огромное поле, в которое вмерз пароход, ломается по краям, от судна до чистой воды — не более пяти-шести километров. Как нужен сейчас «Красин»!

На помощь экспедиции выходит от мыса Дежнева ледорез «Литке». Но потрепанному зимовкой и долгим плаванием судну не удастся пробиться даже сквозь молодой лед. «Челюскин» снова втянут через Берингов пролив в Северный Ледовитый океан. Теперь уже ясно, что зимовки не избежать.

Более трех месяцев ледяные поля таскают паро-

ход странными петлями по Чукотскому морю. Льды то и дело до хруста сжимают судно. Все готово к немедленному спуску на лед.

Катастрофа произошла в самый разгар полярной зимы — 13 февраля. «В полдень ледяной вал слева перед пароходом двинулся и покатился на нас, — писал позднее Шмидт. — Льды перекатывались друг через друга, как гребешки морских волн. Высота вала дошла до 8 метров над морем. Слева от нас, перпендикулярно к борту, образовалась небольшая с виду трещина. Был отдан приказ о всеобщем аврале и немедленной выгрузке аварийного запаса... Не успела еще работа начаться, как трещина снова расширилась, вдоль нее, нажимая на бок парохода, задвигалась половина ледяного поля... Крепкий металл корпуса сдал не сразу. Видно было, как льдина вдавливается в борт, а над ней листы обшивки пучатся, выгибаясь наружу.

Лед продолжал медленное, но неотразимое наступление. Вспученные железные листы обшивки корпуса разорвались по шву. С треском летели заклепки. В одно мгновение левый борт парохода был разорван у носового трюма... Напирающее ледяное поле вслед за тем прорвало и подводную часть корабля. Пароход был обречен».

Через два часа пятнадцать минут после начала сжатия «Челюскин» затонул. За это время удалось сбросить на лед весь аварийный запас — продукты, палатки, горючее. Из ста пяти челюскинцев сто четыре сошли на лед. Погиб один — завхоз экспедиции Борис Могилевич. Он покидал пароход последним — вместе со Шмидтом и Ворониным, когда уже начали рушиться палубные надстройки, задвигался оставленный на пароходе груз. Могилевича придавило бочками, помочь ему было невозможно.

Итак, сто четыре человека оказались вдали от

берега в ледяной пустыне. Только что они видели, как непрочен, несмотря на свою твердость, морской лед. Словно вода, дыбится он волнами, громоздится валами, трещит и ломается в прилив, движется по воле течений непонятными зигзагами. Ненадежная опора под ногами! А при этом ветер — 7 баллов, мороз — 38 градусов. Единственная защита от стихии — тонкие брезенты палаток. И полная неясность — что ждет впереди?

Какое же мужество, какая сила духа необходимы, чтобы в этих условиях управлять людьми, очень разными, людьми, которые понимают, как ничтожно малы их шансы на спасение!

Тут не объяснишь ничего такими словами, как опыт, организаторский талант. Для этого нужно быть той незаурядной, на редкость одаренной натурой, какой был Отто Юльевич Шмидт. В челюскинской эпопее вся его человеческая сущность проявилась особенно ярко.

Шмидт ненавидел бездействие. Человек неумеренной энергии, он всегда был готов к активному отпору — стихии ли, человеческой ли косности. Он всегда предпочитал не ждать помощи со стороны, а находить выход самому, надеясь на свои силы. Казалось бы, все это должно было толкнуть его к тому варианту спасения, который возникал сам собою — прорываться сквозь льды к берегу. Но Шмидт отверг этот путь сразу и бесповоротно: «Был большой соблазн пойти пешком, и горячие головы так именно и предлагали. Один даже бежать хотел, и пришлось ему пригрозить. Что значило пройти 170 километров всем нам? Это расстояние одним махом пройти нельзя. Могут встретиться большие полыньи, туманы, пурга. На это дело надо считать в лучшем случае 20—25 дней. Нужно было тащить с собой питание, одежду. У нас было двое ребят, десять женщин и несколько стари-

ков. Кроме того, наверняка кое-кто из нас будет отставать, и, следовательно, таких больных нужно будет тащить на санках. Дальше, не лишена возможность несчастного случая. Скажем, кто-нибудь сломает ногу, и его также нужно будет нести. Было совершенно очевидно, что мы будем двигаться черепашьям шагом, и с нами было бы так же, как с армией Наполеона, которая, отступая от Москвы, теряла на каждом перегоне людей. С нами было бы точно такое положение, и у нас были бы люди, которых и тащить с собой немислимо и оставить нельзя!

Фашисты Германии писали, что вот, мол, челюскинцы все погибли, да так большевикам и надо. Они говорили, что, если б были там их фашистские вожди, они знали бы, что нужно делать. Во что бы то ни стало сильные должны были бы выбраться на землю, не считаясь, что по дороге много погибнет. Они говорили, что хоть там руководитель с немецкой фамилией, но, очевидно, с большевистским духом, а если б он был немцем, то он назвал бы себя фюрером, сжег бы радиостанцию и скомандовал: «На берег!» Он бросил бы женщин, детей, стариков, а сам ушел бы.

...Мы так сделать не могли, и стоило это разъяснить людям, как все согласилось, что сильные должны помочь слабым и что все должны остаться на месте до конца. Путь движения на берег для нас был неприемлемым».

В этом решении весь Шмидт. Его стиль мышления, его стиль жизни: удивительное единство тончайшего аналитического расчета с не знающим границ благородством, душевной широтой. И решение, рожденное столь редко совмещающимися в одном человеке чертами личности, привело к созданию неизвестного прежде в истории поселения людей в арктической пустыне, которое в газетах всех стран мира

в те дни именовалось «лагерем Шмидта», а иногда более возвышенно — «большевистской республикой во льдах».

Конечно, в том, что он твердо заявил: мы должны остаться, — сыграли роль и его арктический опыт (ведь был же случай в бухте Тихой, когда, отправившись к острову по дрейфующему льду, он и его спутники чуть не поплатились за это жизнью), и уверенность, что страна не оставит полярников в беде, и свойственная Шмидту трезвая оценка собственных сил, подсказавшая — он сможет устроить в этом ледовом лагере тот ритм жизни, при котором люди не впадут в отчаяние, не предадутся тоске, а будут бороться. Ведь это так потом говорилось: все челюскинцы сразу поняли, что принятое решение единственно верное, все согласились, все сознательно и с полной отдачей сил выполняли любое поручение. А на самом деле все это опять же сложилось не сразу, не само собой. Да и потом бодрый трудовой ритм жизни надо было ежедневно, ежечасно, ежеминутно поддерживать.

Что же делали сто четыре человека на полярной льдине? Сперва обживались: строили лагерь, ставили палатки, налаживали весьма необычный быт. Потом работали: вели ежедневные научные наблюдения в том секторе Арктики, о котором почти не было сведений; поддерживали радиосвязь с Большой землей; сооружали аэродромы — подвижки льдов регулярно ломали их, а они строили новые; варили обеды; снимали фильм; выпускали стенную газету с красноречивым названием «Не сдадимся!».

Словом, работали и жили так же, как любой трудовой коллектив в любом поселке или городе страны. В этом-то и было главное достижение Шмидта.

Но они еще и учились. Вот что тогда потрясло весь мир! Сто четыре человека на краю гибели, среди по-

лярных льдов слушают лекции, устраивают диспуты о весьма отвлеченных материях. Такое казалось просто невероятным. Шмидт сумел увлечь товарищей по судьбе своим обостренным вечным желанием знать все об окружающем мире, своей ненасытной жаждой познания, заставившей его когда-то, в студенческие годы, составить список литературы, для изучения которого потребовалась бы тысяча лет.

И тут дело не в широте эрудиции, не в разносторонней образованности. Стремление познавать было вечной всепоглощающей страстью Шмидта, подчинившей себе все его помыслы и поступки. Эта страсть так действовала на людей, что отступил даже инстинкт самосохранения, боязнь за собственную жизнь.

С чего все началось? С того, что Шмидт был всегда центром притяжения, тянувшим к себе людей, магнитом. С того, что к нему стремились, общения с ним искали.

В ледовом лагере это стремление принимало своеобразную форму. Если Шмидт заходил в чью-нибудь палатку, сюда набивалось такое множество людей, что брезентовые стены трещали. Люди стремились к общению с ним, но волей-неволей шире, активнее, глубже, душевней общались друг с другом, а это не позволяло замыкаться в себе, оплакивать наедине свою трагическую судьбу.

Полярная льдина обернулась для многих челюскинцев ценнейшим душевным обретением. Они всем существом своим почувствовали, как много значит постоянное дружеское единение людей, конечно, разных — и это прекрасно, что разных: ведь каждый по-своему неповторим. Они начинали от этого больше уважать и себя и друг друга, переставали быть просто ста четыремья отдельными человеческими единицами, терпящими бедствие, а сплывались в монолит.

Однако — вечная проблема — душевный порыв, страсть к единению вступали в острое противоречие с физической реальностью бытия. И прежде всего с размерами палаток, которые были брезентовыми, а не резиновыми. Ни одна из них никак не могла вместить сразу всех граждан ледовой республики.

Но и тут нашелся выход. В те роковые минуты, когда разрезанный льдиной «Челюскин» уходил под воду, по указанию Шмидта и Воронина были перерублены канаты, которыми крепился к палубе лес. После гибели парохода доски и бревна всплыли. Потом их вытащили из полыньи — образовалась довольно внушительная груда. Из этого материала в несколько дней был построен на льдине барак. Конечно, был он не очень велик. Но все же, тесно сбившись, в нем могли поместиться по вечерам все свободные от вахт и дежурств.

В этом бараке, освещенном коптилками, каждый вечер устраивались собрания. Шмидт начинал их с сообщения о том, что предпринимается на Большой земле для их спасения. Говорил о дневных работах лагеря, заданиях на следующий день. А потом начинались лекции — о диалектике естествознания, о психоанализе, о полетах на Луну, о творчестве Гейне, о современной поэзии, об истории Южной Америки. Почти каждый вечер — лекция. Они не прекращались и потом, когда во время одной из подвижек льда под бараком прошла трещина, отломив от него чуть не половину.

...И вот, наконец, к ним пробивается самолет, и первые челюскинцы вывезены на материк.

Позднее Шмидт рассказывал: «С первыми самолетами я отправил женщин и детей, затем стариков и людей, заболевших разными случайными болезнями. После этого я отправил тех, кто был не особенно устойчив. Были у меня такие люди, у которых в

голове каждый день были новые планы и которым я, в конце концов, запретил думать, потому что, кроме вреда, от этого ничего не было. Так вот таких беспокойных людей я тоже отправил».

Красноречивое признание! Можно представить, как допекли его эти самые беспокойные прожектеры.

Шмидт считал, что, даже если самолеты увезут 50 человек, этого будет достаточно. С остальными, наиболее сильными и натренированными, он надеялся добраться до берега самостоятельно — скорее всего на шлюпках или на большом боте, которые удалось снять с «Челюскина», — когда солнце растопит льды. Но на всякий случай был составлен полный список, определявший очередность отправки людей самолетами. Последними льдину должны были покинуть капитан и начальник экспедиции, потому и номера их в списке были 103 и 104.

Самолеты превзошли все ожидания. С каждым их прилетом все меньше людей оставалось на льдине. 11 апреля удалось перебросить особенно большую партию. Вместе с другими — семьдесят шестым — покинул лагерь Шмидт.

Он заболел неделей раньше — долго дежурил на аэродроме, простудился, началось тяжелейшее воспаление легких. Однако Шмидт несколько дней скрывал от всех, что болен. Несмотря на высокую температуру, был постоянно на ногах, сам руководил операциями по свертыванию лагеря. Потом вынужден был все же лечь, потому что температура перевалила за сорок и не стало сил держаться на ногах. Но лететь вне очереди Шмидт отказался. Подчинился лишь после того, как получил категорическое предписание правительства немедленно покинуть льдину. К этому времени состояние его здоровья ухудшилось настолько, что никто не мог поручиться за благополучный исход.

О том, чтобы отправлять Шмидта на Большую землю тем же путем, каким добирались остальные челюскинцы (от мыса Ванкарем, куда их доставлял самолет, 300 километров на собачьих упряжках к Уэлену), нечего было и думать. Этого пути он бы не выдержал. Хорошо оснащенных больниц в то время на Чукотке не было. Потому правительство СССР договорилось с правительством США о том, что Шмидт будет отправлен для лечения в город Ном на Аляске. Полета в Ном Шмидт не помнил, он был без сознания.

Еще через два дня после его отлета — 13 апреля — лагерь Шмидта перестал существовать: со льдины на материк были доставлены последние челюскинцы, спасти удалось даже восемь собак.

Шмидту попытались объяснить, что все граждане ледовой республики теперь в безопасности, но понял это Шмидт или нет — сказать было трудно. Медики признали его состояние крайне тяжелым.

Академик И. М. Майский, в то время посол СССР в Англии, вспоминает два разговора о челюскинцах с всемирно известными, но совершенно непохожими друг на друга англичанами.

Первый из них — Бернارد Шоу. «Знаменитый писатель, привыкший саркастически смотреть на жизнь, на этот раз не скупился на самые восторженные слова. Он восхищался О. Ю. Шмидтом, челюскинцами, советскими летчиками, советским правительством. Потом, ударяя одной рукой о другую — характерный жест Шоу, — он вдруг со смехом воскликнул:

— Что вы за страна!.. Полярную трагедию вы превратили в национальное торжество. На роль главного героя ледовой драмы нашли настоящего деду-мороза с большой бородой... Уверяю вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи новых друзей!»

Лидер английских либералов Ллойд-Джордж оценил события с позиций опытного политика: «Ни одно другое правительство не пошло бы на такие жертвы для спасения полярных исследователей!..— сказал он Майскому.— Вы одержали большую дипломатическую победу».

А в это время Шмидт в городе Номе медленно возвращался к жизни. К концу апреля он уже начал вставать с постели. В начале мая его выписали из больницы. Он очень спешил домой и поэтому сразу же двинулся в долгое путешествие на родину. Путь лежал через Сан-Франциско — Нью-Йорк — Париж.

Газета «Сан-Франциско Кроникл», сообщая 5 мая о прибытии Шмидта в город, писала: «Из мглы, скрывающей фигуры русского фольклора, вчера в Сан-Франциско вынырнул человек с лаврами, украшающими его широкие плечи, человек, который с таким же правом мог бы соскочить со страниц легенды».

Высокий стиль развеселил Шмидта. «Выныривать» или «соскакивать» ему было явно не по силам. Он едва передвигал ноги...

Крым, 1945

К ограде туберкулезного санатория прилепилось кладбище. Это породило множество мрачных и не очень остроумных шуток. «Чтоб не забывали о близком будущем»,— сказал один больной. Другой заметил, что такое расположение сокращает расходы на транспорт похоронного бюро. Третий увидел в этом соседстве неразрывную связь причины и следствия.

Шмидт на могильные темы говорить не любил. И в стихийно возникшем конкурсе острословов участия не принял. Он и разговоров о болезни, тради-

ционных для санатория, старался не поддерживать. Но однажды осенью 1945 года, когда ему еще разрешали выходить из дому, во время прогулки забрел на это полузаброшенное кладбище. Глаза сами собой скользили по надгробным плитам, выхватывая даты рождения и смерти. И почти всюду разрыв между ними был невелик — какие-нибудь двадцать — тридцать лет: чахотка косила быстро и наповал. Плита на одной из старых могил, где был похоронен какой-то купеческий сын, привлекла внимание выбитыми на ней стихами:

«Только жить собрался,
Только сил набрался,
Тут его сгубила
Проклятая бацилла».

Беспомощные вирши, нелепые своим плясовым ритмом, поначалу только рассмешили. Но потом вдруг натолкнули на грустную цепочку размышлений. Ведь и его судьба уже давно могла стать темой для посмертных эпитафий.

Даже поверить было трудно, что он, высокий, широкоплечий, был рожден на свет со слабыми легкими. Впервые об этом ему сказал милый седенький доктор, такой коротенький, что с трудом дотягивался до груди Шмидта своей трубочкой. Случилось это в Киеве, еще в студенческие годы, когда он схватил вдруг сразу воспаление легких и плеврит. Лежать пришлось долго. Но кончилось все вроде без последствий. Коротенький доктор советовал вести размеренный образ жизни, чаще бывать на воздухе, избегать простуд, не переутомляться. Об этих советах Шмидт, конечно, скоро забыл. Было не до того.

В 1924 году легкие дали новый сигнал. Пришлось бросить все дела и на два месяца отправиться в Альпы. Потом десять лет — никаких тревожных симптомов.

Правда, и в Арктике врач Леонид Федорович Лимчер не раз уговаривал его быть осторожным. Но если уж следовать этому совету, то лучше вообще не связывать жизнь с полярными морями.

Леонид Муханов позднее писал: «Выносливость Шмидта порой просто поражала. Люди всеми силами старались создать условия, чтобы Шмидт не простудился... Да куда там! Отто Юльевич даже доктора Лимчера, который лечил его в Москве и в экспедициях, не боялся. На все его доводы он отвечал: «В Арктике нельзя простудиться. Здесь можно только замерзнуть, а я подвижный, меня не удержишь».

И он действительно не болел. Хотя много раз во время походов «Седова» и сквозного плавания «Сибирякова» замерзал на ветру, падал в холодную воду. Вот только челюскинской эпопеи легкие не выдержали. Целых полгода тогда понадобилось, чтобы прийти в себя. Но ведь выздоровел и как будто никаких последствий. Снова ходил Северным морским путем, летал в открытых самолетах, высаживался на полярный лед.

А в 1944 году и не промокал, и не мерз, но по целым месяцам держалась высокая температура. Врачи говорили: воспаления легких, одно за другим. Он глотал таблетки; пока не было сил, лежал в постели, но как только чувствовал, что уже может встать, вставал и работал. Осенью сорок пятого неожиданно открылось кровохарканье. Только после этого медики отменили свой прежний диагноз и догадались, что уже полтора года у него открытый туберкулезный процесс. Они сказали, что Шмидта надо как можно быстрее вывезти в Крым.

Жена Шмидта — Ирина Владимировна — не на шутку встревожилась, особенно когда знаменитый фтизиатр Г. Р. Рубинштейн высказался так: «Везти совершенно необходимо, хотя все что угодно может

случиться и в Крыму, но если оставить его в Москве, летальный исход неизбежен».

Шмидт об этом приговоре не знал. Правда, когда впервые стало известно, что у него туберкулез, он взял с жены клятву: она будет говорить ему все, что бы ни сказали врачи. Ирина Владимировна обещала, но слово свое выполняла далеко не всегда — только тогда, когда ничего страшного медицина не пророчила.

Врачам легко было прописывать Крым. Попасть туда первой послевоенной осенью, когда многие санатории были разрушены, а те, что уцелели, по большей части еще не работали, оказалось делом почти невозможным. Выручили военные моряки. После 1936 года, когда под руководством Шмидта был осуществлен еще один отчаянный по смелости, в то время рискованный эксперимент — проводка Северным морским путем эскадры миноносцев, — он стал любимцем военморов. Туберкулезный санаторий Военно-Морского Флота в Ялте к осени 1945 года уже открылся, туда и поехал Шмидт вместе с женой.

От Симферополя до Ялты добирались на санаторной машине кружным путем — через Севастополь. Когда подъехали к бывшей городской границе, вдоль шоссе потянулись сплошные руины, искореженные скелеты зданий.

Шмидт до войны много раз бывал в Севастополе, очень его любил. И теперь с тоской глядел на мертвые, заваленные битым кирпичом улицы. Он, конечно, знал, как досталось Севастополю, но все же невозможно было представить, что этого великолепного города больше не существует.

Жена вспомнила смешную историю, которая с ними произошла здесь в один из предвоенных приездов. Они отдыхали тогда в Форосе и поехали в Севастополь по каким-то мелким хозяйственным надоб-

ностям, захватив с собой в машину еще одну супружескую пару из их же санатория. Вчетвером пошли на базар. Женщины энергично сновали между рядами, а мужчины, занятые беседой, слегка поотстали. Ирине Владимировне приглянулись мягкие тапочки, которыми торговал в ларьке веселый и разбитной грек. Пока она их рассматривала и примеряла, подошли мужчины. Шмидт пробурчал про тапочки что-то одобрительное. Ирина Владимировна уже отсчитала деньги. Но продавец вдруг выбежал из ларька, кинув на ходу:

— Не торопись, подожди минутку.

Пошушукавшись с другими ларешниками, он скоро вернулся, неся в руках засаленную тетрадку.

Ирина Владимировна снова протянула ему деньги, но грек отвел ее руку.

— Очень спешишь, дорогая. Так теперь нельзя. Вот фамилию надо записать, кто купил,— и он раскрыл тетрадку.

— Зачем фамилию?

Продавец плутовато улыбнулся:

— Сам не знаю. Фининспектор такой — требует.

Ирина Владимировна удивленно пожала плечами и написала: Шмидт.

Продавец глянул на фамилию и громко закричал:

— Это он! Конечно, он! Я узнал! Нет ни у кого такой бороды! Во всем мире нет! Только у Шмидта.

На крик со всех сторон сбежались люди. Шмидт оказался в их тесном кольце. Все что-то кричали, хлопали в ладоши и тянули к Шмидту руки. Вырваться удалось не скоро. Ирина Владимировна растерялась и забыла про свои тапочки.

Но когда они сквозь узкий людской коридор все же пробрались наконец к машине, перед капотом вдруг вырос взмыленный грек и замахал руками. Подскочив к дверце, он сунул в окно завернутый в газету пакет:

— Вот, дорогая! Пусть будет в них удобно. Мой подарок жене Шмидта,— и он исчез в толпе...

Теперь не было базара, не было города, да и полулежащий на сиденье Шмидт мало походил на молоджавого мужчину, каким он был в тот предвоенный год. Дорогу он перенес трудно и в санаторий приехал полуживым.

Да, многое изменилось всего за несколько лет — и в стране и в его жизни. Годы его славы, когда не было человека, не знавшего Шмидта, прошли. Страна пережила самую страшную в истории человечества войну. Совсем иные подвиги новых героев были у всех на памяти. А Шмидт, отнюдь не по собственной воле, оказался как бы в стороне от главных событий.

В феврале 1939 года Шмидта избрали первым вице-президентом Академии наук СССР. Потом началась война. Пришел приказ об эвакуации учреждений Академии. Нужно было вывозить на восток целые эшелоны ценнейшего оборудования — Президиум и большинство институтов эвакуировались в Казань. На новом месте пришлось в предельно сжатые сроки расселять академиков и научных сотрудников, разворачивать работу, и в первую очередь — выполнение заказов, имевших оборонное значение.

Между тем президент Академии, семидесятипятилетний В. Л. Комаров, выдающийся ботаник, один из крупнейших в мире специалистов по систематике растений и флористике, в Казань ехать не захотел, а избрал местом жительства Свердловск.

Естественно, на расстоянии руководить Академией было нелегко, и это удваивало груз забот, навалившихся на Шмидта. А Комаров, если какие-то мелкие вопросы решались без него, постоянно обижался на вице-президента, который будто бы пытается властвовать единолично. Шмидт прилагал весь свой ди-

пломатический талант, чтобы избегать трений. Он с большим уважением относился к Комарову и считал про себя его обиды не более чем чудачеством. Да, честно говоря, ему было и не до выяснения отношений. Управлять — особенно в условиях войны и эвакуации — такой машиной, как Академия, точно и ясно формулировать задачи, стоящие перед каждым ее подразделением, переубеждать иных ученых, слишком однобоко понимающих смысл своей работы в военное время, на все это и так едва хватало сил.

Академик П. С. Александров, работавший в начале войны бок о бок со Шмидтом, вспоминал некоторые эпизоды той трудной поры: «Мне говорил один очень крупный физик, что заниматься атомной физикой теперь несвоевременно. Нужно, мол, разрабатывать темы, которые должны быть применены сейчас же к делу, а не заниматься такой ерундой, как атомные ядра. Отто Юльевич имел мужество противостоять таким голосам. Помню одно собрание, где было сказано, что математики, разрабатывающие прикладные темы, будут получать по 800 граммов хлеба в день, а математики, которые заняты фундаментальными темами,— по 600 граммов. Отто Юльевич тогда пригласил нас к себе и сказал, что и в военной обстановке необходимо не только выполнять прямые сиюминутные заказы обороны, но также необходимо вести проблемные, теоретические исследования во всех отраслях науки, ибо это себя обязательно оправдывает. Он считал, что и атомную физику никак нельзя оставлять. Это были слова большого человека и большого организатора науки, по достоинству оцененные многими учеными».

Шмидт не мог думать и поступать иначе. Но такие суждения иными истолковывались превратно... Сейчас трудно проследить всю цепочку событий более чем тридцатилетней давности. Одно известно

вполне определено. В апреле 1942 года из Москвы в Казань пришла срочная телеграмма, которая вполне ясно и недвусмысленно требовала отставки Шмидта.

Академик П. С. Александров рассказывает про эти, пожалуй, самые горькие в жизни Шмидта дни: «Помню, что академик А. Ф. Иоффе, проводя тогда собрание нашего отделения, не сел на председательское место, которое обычно занимал Шмидт. Он сел в стороне, а председательское место так и оставалось пустым». И это был мужественный поступок, иным путем выразить свое сочувствие отставленному первому вице-президенту Иоффе не мог.

Шмидту хватило выдержки внешне сохранить спокойствие, но свое отстранение от поста он воспринял очень болезненно.

Однако он был слишком деятельным человеком, чтобы погрузиться в обиды и переживания. Еще в 1938 году по его проекту был создан Институт теоретической геофизики АН СССР, в задачу которого входило решение комплексных проблем, связанных с целостным изучением строения Земли — всех ее оболочек и сфер. Шмидт стал директором института со дня основания. И теперь он полностью сосредоточился на руководстве Институтом теоретической геофизики. Многие его лаборатории были заняты конструированием приборов, необходимых для военных нужд. Другие продолжали заниматься фундаментальной проблематикой. Их темы лежали на стыке различных наук о Земле и были чрезвычайно важны для развития каждой из них.

Сам же Шмидт решил, что сложившаяся ситуация позволяет наконец взяться за ту проблему, к работе над которой он подступался уже в течение двух десятилетий, — космогонии, проблему происхождения Земли и планет Солнечной системы.

Это был новый поворот в его судьбе.

Шмидт вошел в космогонию не с пустыми руками, кое-какие предположения и догадки уже давно брезжили в его мозгу. Они не могли облечься в четкие идеи, потому что долгие годы он не имел возможности всерьез заняться космогонией. Но в апреле 1942 года такая возможность появилась. А уже не раз отмечалось, что Шмидт умел как бы прессовать время своей жизни, постигая за считанные месяцы то, на что у других уходили годы и даже десятилетия. Таким же методом он входил и в космогонию.

Весь арсенал приемов осмысления фактов, все отработанные многими годами типично его — шмидтовские — ходы мышления, весь свой организаторский талант и опыт применил он, чтобы начать масштабный штурм космогонических проблем.

И первые результаты штурма сказались всего через полтора года. Уже в ноябре 1943 года на заседании ученых советов Института теоретической геофизики АН СССР и Астрономического института Шмидт делает доклады о разрабатываемой им новой теории происхождения Земли.

Однако, как ни упирай на удивительную работоспособность Шмидта, его умение буквально на лету схватывать неведомые прежде идеи, на оригинальность его мышления, тонкость интуиции и талантливость натуры, столь быстрый успех в новой сфере может показаться чудом, а серьезные люди давно уже не верят в чудеса.

И все же серьезные люди в данном случае не правы. Ибо им представляется, что познание может двигаться вперед одним-единственным методом: ученый собирает горы (целые Монбланы) фактов, а потом из этих гор чуть ли не сама собой вытекает идея, которая и будет законом природы. Такой ход познания в общем-то существует, но он далеко не единственный и даже вряд ли может быть признан

основным. Извилистые дороги мысли, пути к постижению тайн мироздания гораздо сложнее и насчитывают бесконечное множество вариантов. Ведь наука — это не скучный мир, где все определяют щелчки арифмометров и компьютеров. Здесь играет огромную роль смелость — или, как теперь принято говорить, «эвристичность» — мышления, умение найти свой часто неожиданный ракурс, с которого общественные факты вдруг обретают совершенно иной, неизвестный прежде смысл.

Альберт Эйнштейн однажды заметил, что наиболее крупные открытия чаще всего совершают «гениальные невежды», которые просто не знают «правил игры», хорошо известных маститым ученым, и потому поступают вопреки правилам — высказываются против как будто бы незыблемых основ, выдвигают те самые «сумасшедшие» идеи, которые в наш век обрели особую ценность. (Недаром Нильс Бор однажды сказал своему коллеге, что предложенная им идея недостаточно сумасшедшая, чтобы быть верной.)

Эти представления еще не укоренились в нашем сознании. Словом «ученые» мы называем людей двух совершенно несхожих, даже противоположных типов. Первый — кладези знания, эрудиты, освоившие свод добытых их предшественниками истин, часто значительно развившие построения своих учителей. Эти люди очень ценны, без них познание — в те наиболее длительные периоды, когда оно движется медленно, шаг за шагом, без катаклизмов и рывков, — просто не могло бы развиваться.

Второй тип — это «гениальные невежды», взрывники, первооткрыватели, сокрушители основ. От них мало проку в спокойные периоды развития науки. Но тогда, когда необходима коренная ломка, когда выстроенное медленным и кропотливым трудом зда-

ние вроде бы неоспоримой теории дает трещину под напором новых фактов и надо возводить новое, в котором прежнее займет скромное место одного крыла, флигеля, в такие периоды на этих «невеждах» — все надежды.

• В космогонию Шмидт ворвался именно как «гениальный невежда». И огромным его везением было то, что именно в этой науке, в этот момент остро требовался именно такой бунтующий мозг. Случилось так: как раз к середине сороковых годов факты безжалостно разрушили одно за другим изящные, даже ажурные строения космогонических гипотез, прежде поражавшие своей логической безупречностью и стройностью. Нужен был принципиально новый, нетривиальный, неожиданный, «сумасшедший» взгляд на проблему. Только он мог стать фундаментом для нового сооружения. А большинство космогонистов пытались представить себе некоторые детали и частности картины, не имея общей конструктивной идеи. Но ведь это все равно, что рисовать капители колонн, когда еще нет общего проекта здания и даже неизвестно, будет ли в нем колоннада.

Шмидт начал с фундамента. Почти все его непосредственные предшественники считали, что планеты Солнечной системы возникли из первоначальных раскаленных газовых сгустков. Правда, к середине сороковых годов было доказано, что такие сгустки не уплотнялись бы в дальнейшем, а рассеивались. Однако космогонисты пытались найти или вернее подобрать такие гипотетические условия, при которых рассеяние не должно происходить.

Шмидт увидел в формировании планет совершенно иной механизм. По его идее планеты образовались из холодного твердого вещества — метеоритных обломков и пыли.

Это было не просто умозрительной идеей. Поззи-

ция Шмидта опиралась на достижения всех основных наук, и прежде всего физики, сделавших в начале XX столетия гигантский рывок в познании тайн мироздания. Идея построения планет путем аккумуляции из твердого холодного вещества и стала фундаментом его новой теории.

Впрочем, даже на самом первом этапе разработки космогонии Шмидт не ограничился возведением «нулевого цикла». Ему было понятно: новое представление не может быть принято, если не ответить на вопрос о том, откуда взялся вблизи Солнца материал для строительства планет, и он выдвинул гипотезу, по которой Солнце захватило газопылевое вещество одного из облаков — их много обнаружено в Галактике.

Между тем астрономы считали захват в принципе невозможным. Представление о том, что если в космосе движутся два тела, то ни одно из них не может притянуть к себе (захватить) другое, было доказано строго, математически безупречно. Такой же незыблемой истиной считалось, что захват невозможен и в том случае, когда речь идет не о двух, а о трех телах. Это утверждала теорема Шази, не подвергавшаяся сомнению. Шмидт увидел в доказательствах Шази слабые места, а потому и предположил, что захват в случае трех тел при определенных обстоятельствах может происходить. Поначалу на этом выводе он особенно энергично настаивал. А его оппоненты яростно обрушились прежде всего на идею захвата. И в первые годы вокруг этой проблемы развернулись главные баталии.

Выступая с докладами, Шмидт старательно собирал все возражения против своих взглядов, осмысливал, искал ответы на критику. Он все более убеждался в том, что, хотя не все его построения пока еще выглядят убедительно, все же противники не могут

выдвинуть ни одного серьезного аргумента, способного доказать слабость гипотезы в целом. А это значило, что основное направление поиска он выбрал правильно. Однако Шмидт отдавал себе отчет, что его гипотеза — не финал, а лишь начало огромной работы. От эвристического всплеска мысли, от интуитивной догадки до теории, обоснованной с разных сторон, облеченной в строгие математические формулы, лежит некороткий путь. И было ясно, что справиться с этой задачей одному не под силу. Потому в декабре 1944 года в Институте теоретической геофизики был создан отдел эволюции Земли. Руководство новым отделом Шмидт совмещал с директорскими обязанностями.

Он подбирал себе помощников по тому принципу, который еще в Арктике взял на вооружение: каждый сотрудник должен в одной из узких проблем разбираться лучше, чем руководитель.

Первым пришел в отдел Генрих Францевич Хильми, крупный специалист по небесной механике. Дальше пошло по цепочке — Хильми познакомил Шмидта с недавней выпускницей МГУ Софьей Владиславовной Козловской, которая еще в студенческие годы проявила себя способным астрономом и физиком. Ее зачислили на должность, именовавшуюся в то время «научный сотрудник при академике». Козловская порекомендовала метеоритчика Бориса Юльевича Левина, про которого было известно, что он кроме прочих достоинств обладает острым критическим чутьем и почти безошибочно указывает на слабые места даже в, казалось бы, весьма благополучном ученом труде.

Главным в работе отдела были семинары, которые проводились еженедельно. Семинар начинался докладом, в котором излагалась какая-нибудь часть новой теории. В обязанность сотрудников входило

нападать на докладчика и прилагать все усилия, чтобы расшатать его построения. Когда чувствовали, что у самих сил на это не хватит, приглашали специалистов из других отделов или других институтов. Самое ценное было именно расшатывание — замечания, поправки, выяснение слабых мест. Потом работа доводилась и готовилась в печать.

Семинары шли то в институте, то дома у Шмидта, когда он болел. Как и во время арктических плаваний, как и на челюскинской льдине, Шмидт умело создал в отделе ту непринужденную дружескую обстановку, в которой человеку уютно живется и работает, а мысли рождаются без натуги, как бы сами собой. Магнитное свойство его натуры, благодаря которому к нему притягивались самые разные люди, здесь имело очень важное значение. И безостановочный мозговой штурм приносил плоды. Одна за другой добывались крупинки истины.

Но болезнь обострилась, и в сентябре 1945 года безапелляционный приказ врачей — выехать в Крым...

Сырая, совсем не южная осень изматывала вконец. Грустно глядел он сквозь широкое стекло балконной двери на бесконечные нити дождя. Его лихорадило, когда он садился за маленький письменный столик, придвинутый к окну, мысли разбежались, и не хватало сил, чтобы их собрать.

Только в середине октября Шмидт почувствовал себя лучше, появилась слабая тень надежды, а вместе с ней и острое желание узнать, как там дела в его отделе. 18 октября он писал Козловской:

«Дорогая Софья Владиславовна!

Уже несколько дней у меня нормальная t° , и я немного ожил. До этого, первые две недели Крыма, было заметно хуже, чем в Москве. Возможно, это — неизбежный расход на акклиматизацию и на наступление осени (она и здесь оказалась дождливой и до-

вольно холодной). В Москве было бы не лучше. А здесь все же Крым! Я ему очень рад, субъективно себя чувствую прекрасно, да и врачи (сегодня был консилиум из 7 человек) считают меня по чину «крымских» больных и берутся поправить. К книгам и бумаге я пока подхожу очень осторожно. Теперь, кажется, начну. Особенно, если Вы мне сообщите интересные новости... Что делается в астрономической Москве? Есть ли новинки в журналах наших и других?.. Как корректура наших с Вами работ? Что думают в издательстве делать с моей следующей статьей (о кометах), оставленной Вам?»

Он с прежним напором рвался в дела. Он надеялся, что выбыл из строя ненадолго.

Еще в Москве Шмидт получил от одного академика письмо. Вежливое, выдержанное в добрых старых академических традициях, оно, по существу, было вызывом. «Глубокоуважаемый Отто Юльевич! Ваши исследования в области космогонии произвели на астрономов большое впечатление и продолжают служить предметом обсуждения». Но далее академик писал: он проверил некоторые выкладки Шмидта и пришел к твердому заключению, что один из описанных им механизмов аккумуляции метеоритного вещества практически ни при каких условиях не может осуществиться. «Я сделал об этом небольшое сообщение в порядке предварительного обмена мнениями на одном из последних заседаний кафедры,— продолжал академик,— причем кафедра признала весьма желательным провести дискуссию по этой проблеме при условии, что Вы примете в ней участие... после Вашего выздоровления, которого мы все горячо Вам желаем».

У Шмидта был заготовлен целый каскад неопровержимых аргументов. Он рвался в бой, чтобы все их разом выставить, словно частокол, который защи-

тит его детище. Но физическая немощ исключала возможность каких-либо поединков. Надо было смиренно ждать — не день, не два, долгие месяцы. А ведь противникам могло показаться, что он боится принять вызов.

И в октябре, когда наконец наступило улучшение, он осторожно прислушивался к себе, веря и еще не веря — теперь процесс пойдет на спад.

К началу ноября он настолько окреп, что мог уже выходить на прогулку. А на праздники даже выбрался в город, спустился к морю и прошелся по набережной.

В его письмах появляются столь свойственные ему бодрые нотки. Только почувствовав надежду на выздоровление, он уже заботится о других и как будто извиняется за свой недуг. Шмидт обеспокоен, как всегда, не только делами своего отдела, но и настроением сотрудников. Он знает о горе своей помощницы С. В. Козловской. На фронте погиб ее муж, талантливый математик С. Е. Вихман. Молодая женщина не может прийти в себя от постигшей ее утраты. Шмидт осторожно подбирает слова сочувствия: «Я все время очень тревожился за Вас и горько сожалел, что моя болезнь и связанный с нею эгоизм не дали мне возможности найти пути к Вашей душе, при которых, может быть, я был бы чем-нибудь Вам душевно полезен». Ему, больному, отправленному на лечение в туберкулезный санаторий, очень важно, что в далекой Москве у совсем еще зеленой сотрудницы улучшилось настроение: «Дорогая Софья Владиславовна! Очень обрадовали Вы меня своим письмом. Особенно тем, что Вы сами чувствуете свое обновление, «выздоровление», как Вы пишете».

Он еще осторожно упоминает о себе, о том, что болезнь пошла наконец на перелом: «Мои дела идут неплохо, в том отношении, что погода прекрасная и

самочувствие хорошее. Рано еще говорить об улучшении по существу, но буду стараться. Несколько больше занимаюсь. Написал для печати следующую работу из моей серии... Написал, но еще не посылаю Вам вот почему: цифры Орпенbeim'а о распределении полюсов комет плохо подтверждают мою теорию. Обдумав дело много раз, я решил проверить эти цифры. Может быть, Орпенbeim ошибся!»

Словом, дела идут на лад. Со здоровьем намного лучше. Работа движется. И, значит, выполняется задуманная программа.

Кажется, еще немного, и он окончательно победит недуг.

Но вот письмо от 21 декабря. «Мои дела не очень радостны. Переболел воспалением легких, поправился, но потерял много времени и нарушил кинематическое лечение основной болезни (не пускали из дома). Работать было трудно».

В этом отрывке все неправда — отчасти по неведению, отчасти потому, что не хотелось огорчать сотрудников, отчасти потому, что еще жил иллюзиями, которые вызвало недавнее улучшение здоровья.

На самом деле было так. В конце ноября он снова слег. Врачи установили, что к туберкулезу легких добавился туберкулез горла. Ирине Владимировне сказали об этом, но она, в очередной раз нарушив клятву, скрыла от мужа новую болезнь. Для Шмидта и было придумано про воспаление легких — тоже, конечно, не радость, но все же не так страшно. И конечно, к концу декабря он не поправился. Только массажное применение медикаментов на несколько дней облегчило его положение. И работать он в то время совершенно не мог, не до того было.

Однако Шмидт поверил, что на этот раз заболел случайно и ненадолго, надеялся вскоре снова засесть

за космогонию и главную беду видел в том, что не захватил из дому многих нужных ему материалов. Он — сперва полупнамеками, исподволь, а потом откровенно — стал уговаривать жену, чтобы она съездила в Москву за книгами. Ирина Владимировна под разными предложениями уклонялась от ответа. Но Шмидт становился все более настойчив. Она решила посоветоваться с врачами. И неожиданно для себя услышала, что медики ничего против ее поездки не имеют. Более того, они сказали: неплохо, если бы Ирине Владимировне удалось достать в столице редкое по тем временам лекарство, которого в санатории не было. И еще — с ней они хотели бы передать письмо профессору Рубинштейну, надо обсудить некоторые детали лечения. Что же до больного, то о нем нечего беспокоиться: на время ее отсутствия закрепят за Шмидтом постоянную сиделку, да и врачи будут почаще к нему навещаться.

Делать было нечего — она собралась в дорогу. Но весь путь в машине до Симферополя тревожное предчувствие не оставляло ее. В поезде ей стало совсем не по себе. Повинуясь какому-то неясному чувству, она вскрыла конверт и стала читать письмо санаторных врачей профессору Рубинштейну. Врачи писали, что положение Шмидта угрожающее. Надежды на благополучный исход почти нет. Крымская зима при новой болезни ему не на пользу. Но увозить его опасно, ибо на этот раз совершенно не вызывает сомнения, что дороги ему не перенести.

...С танцплощадки доносились звуки ненавистного фокстрота и шарканье по асфальту нескольких десятков ног. Когда пришел начальник санатория Александр Александрович Селиванов, Шмидт сказал ему, что так старательно танцевать могут только чахоточные. Селиванов, в недавнем прошлом судебный врач на Балтике, плотный, коренастый, светлого-

лосый — весь оптимизм и здоровье, расхохотался, обнажив два ряда жемчужных зубов.

— Фокстроты я давно терпеть не могу — с Арктики. В двадцать девятом году на «Седове» их играл граммофон зимовщиков. И меня это очень раздражало. Понимаете, вековое молчание льдов разрушает дешевенький фокстрот. В других условиях он может звучать и не так противно. Но там слишком большой контраст. И надо быть бревном, чтобы не почувствовать.

Дыхание Шмидта прерывалось. Он начал терять сознание. Селиванов срочно вызвал медсестру. Сделали укол. Вскоре дыхание стало ровным. Шмидт заснул. Селиванов строго наказал сиделке, чтобы его позвали, если что-нибудь снова случится.

Ночь Шмидт провел спокойно. Утром он выглядел немного лучше. Начальник санатория, войдя к нему, бодро спросил:

— Ну, чем занимаемся?

— Думаю, — ответил Шмидт.

— Все опять космогония?

— Нет, перебирал свою жизнь.

— Зачем? — спросил Селиванов.

— Хотелось понять, что обо мне будут вспоминать, если я завтра умру. Про космогонию вряд ли вспомнят, она еще не доведена до ума.

Селиванов улыбнулся, замахал рукой, но вдруг сам как бы увидел себя со стороны: неискреннее профессиональное бодрчество. Бледное лицо Шмидта ясно выражало, что и он ощущал в его поведении фальшь.

— Только не пытайтесь меня уверить, что завтра я не могу умереть, — сказал Шмидт. — Мы же с вами моряки, давайте лучше поговорим о другом.

— О чем же? — спросил Селиванов.

— О том эпизоде из моей жизни, который, возможно, не забудут.

- Что вы имеете в виду?
- Конечно, экспедицию на полюс.
- На полюс?
- Ну да, ее-то, думаю, не забудут.

К вершине планеты

Никогда еще люди не выбирали себе места для жилья таким странным способом. Самолет кружил надо льдами, переваливаясь с крыла на крыло. А Шмидт и Водопьянов, до боли напрягая глаза, всматривались в безжизненное пространство. Наконец они увидели то, что им было совершенно необходимо: ровную площадку. Шмидт тронул Водопьянова за плечо, что-то прокричал ему на ухо. Командир корабля слов не услышал, но кивнул — все и так было понятно: он тоже разглядел лишенное торосов поле и повел машину на снижение.

Под ними был Северный полюс.

О событиях того дня — 21 мая 1937 года — Шмидт позднее рассказывал: «Когда наш самолет пробил облачность... мы, конечно, не знали, что увидим внизу. И эти минуты, пока мы не знали, идет ли облачность до самого льда или оставляет нам промежуток для ориентировки, были самыми драматическими... Но оказалось, что облачность кончилась между 500 и 560 м высоты, так что мы, выйдя на 500 м из облаков, увидели картину, которая могла нас только обрадовать. Огромная льдина, небольшие трещины, в одном месте полынья, маленькое озеро... Самолет был посажен мастерски, остановился без толчков, люди высыпали с возгласами: «Мы на полюсе!..» Естественно, что мы обнялись, поцеловались и первым нашим движением было провозгласить ура во славу нашей Родины...»

Мечта о достижении Северного полюса зародилась у Шмидта еще в первой экспедиции на «Седове». Но тогда это была только мечта, неясная тяга романтически настроенного путешественника «в туманные дали». Однако шло время, и проникновение в центр Арктики становилось насущной задачей. Сведения, которые давали уже многочисленные к середине тридцатых годов полярные станции, разбросанные по побережью и арктическим островам, не только проясняли картину жизни льда, но и ставили множество вопросов. Для того чтобы разрешить их, нужно было последовательно в течение долгого времени изучать природные условия в районе самого полюса. Без этого невозможно снабжать надежными прогнозами трассу Северного морского пути.

Но как добраться до полюса? Опыт плавания в прибрежных морях ясно показал: возможности судов, даже наиболее мощных, ограничены: многослойный толстый лед Центрального бассейна им явно не по зубам.

О походе на собаках тоже нечего было и думать. Наука к тому времени обзавелась множеством громоздких приборов. Для стационарной станции на арктическом льду требовался большой набор лебедок, вертушек, радиоаппаратуры, термометров, батометров, шаров-пилотов. Собачьим упряжкам не под силу везти такой груз.

Оставалось одно — авиация. После челюскинской эпопеи мысль об использовании самолетов для экспедиции на полюс захватила многих полярников. Шмидт говорил: «В те дни все мы стали маньяками авиации».

Однако возможность посадить на лед большие, тяжело груженные машины все же вызывала сомнения. Конечно, толстый лед у полюса должен выдержать их вес. Но кто знает, есть ли там поля, необхо-

димые для взлета и посадки? Сведения на этот счет были противоречивые.

Амундсен, пролетевший в 1926 году огромное расстояние над Арктикой — вплоть до 88 параллели, — сообщал неутешительные новости: «Мы не видали ни одного годного для спуска места в течение всего нашего долгого пути от Свальбарда до Аляски. Ни одного-единого!.. Наш совет таков: не летайте в глубь... ледяных полей, пока аэропланы не станут настолько совершенными, что можно будет не бояться вынужденного спуска». О запланированной посадке, по его мнению, вообще не могло быть речи.

Между тем американец Роберт Пири, первым достигший полюса на собаках, писал, что в центре Арктики не встретил значительных торосов, а почти все время двигался по ровным ледяным полям.

Шмидт счел свидетельство Пири более надежным. Он рассуждал так. Торосы чаще всего образуются там, где ледяные поля встречают на своем пути препятствия: берег материка, остров, севший на мель айсберг. В центре Арктики суши нет, а глубины велики. Значит, эти причины исключаются. Правда, льдины начинают лезть друг на друга и в том случае, если дрейфуют с разной скоростью под влиянием ветров разных направлений. Но одни ветры не в силах вздыбить торосами огромные площади ледяных полей. В результате торосение здесь, в районе полюса, по мнению Шмидта, «возникает реже и образует лишь отдельные валы, пересекающие пространства в общем ровного льда, создавая некоторую аналогию с шахматной доской, где преобладают поля и лишь небольшое пространство занято линиями границ полей». А значит, место для посадки можно найти.

В начале 1936 года Шмидт представляет в правительство разработанный под его руководством в Главсевморпути проект воздушной экспедиции на полюс.

Ее цель — создание на льду Центральной Арктики полярной станции, научного стационара, подобного береговым станциям, где будет проведен годичный цикл наблюдений.

В то время ученые дружно сходились во мнении, что вершина планеты постоянно одета шапкой холодного воздуха — антициклоном, с которым связана ясная погода и маловетрие. А потому считалось, что и лед здесь слабоподвижный. Значит, полярная станция за год далеко отойти от своего исходного места не должна. Потому станция и мыслилась как годичный стационар.

В феврале 1936 года проект экспедиции был утвержден. Шмидта назначили ее начальником.

Более года шла подготовка к полету. Наконец 22 марта 1937 года экспедиция — четыре основные машины и два самолета-разведчика вылетела из Москвы. Приходилось спешить, чтобы опередить необычайно раннюю в тот год весну. До Нарьян-Мара добрались благополучно. Но здесь пришлось надолго застрять. Следующий участок пути: Нарьян-Мар — Новая Земля — остров Рудольфа, где была устроена последняя база экспедиции, — самый трудный и каверзный.

Проходил день за днем, а нужной комбинации погодных условий на трассе полета не выпадало. Весна же постепенно докатывалась и до Нарьян-Мара. Самолеты стояли на льду реки Печоры, и этот еще недавно надежный аэродром начал сдавать. Под тяжестью четырех перегруженных самолетов, каждый из которых весил почти двадцать пять тонн, лед прогнулся. У лыж выступила вода. Пилоты ходили хмурые.

Не все участники экспедиции одинаково переносили вынужденное безделье. Кое у кого начали сдавать нервы. Случилось ЧП. Местные власти сообще-

ли Марку Ивановичу Шевелеву, заместителю Шмидта по авиации, что один из его парней устроил в городе драку. Виновника найти было нетрудно. Павел Головин, командир дальнего самолета-разведчика «Р-6», был слишком приметной фигурой — молодой парень, высоченный, красавец. «Центнер мускулов», — говорили про него пилоты. Это был человек довольно распространенного среди летчиков тридцатых годов типа. Первокласный ас, рискованный, неутомимый, веривший в свою удачу — он не умел и не хотел сидеть, ожидая «у моря погоды». Задержка вылета бесила его, и вот однажды, гуляя по городу, он нашел выход своему раздражению — из-за пустячного спора намял бока подвернувшимся под руку нарьян-марским парням.

Шевелев пришел в ярость. Сообщив Шмидту о происшествии, грозно добавил:

— Так с ним поговорю — котенком станет.

Ответ он услышал столь необычный для Шмидта, что и теперь, через сорок лет, его помнит.

— Извините, Марк Иванович, — улыбаясь, сказал Шмидт, — но если позволите, я с ним поговорю сам.

— Вы? — переспросил Шевелев.

Он знал привычку Шмидта не влезать в мелкие дела, полностью доверяя их своим помощникам. Это был стиль работы, который начальник Главсевморпути старательно проводил в управлении, постоянно пропагандировал на всех собраниях, требовал, чтоб так же работали и другие руководители. И вот теперь нарушал собственную традицию.

— Понимаете, Марк Иванович, — пояснил Шмидт, — вас все полярные летчики и так боятся. Сейчас же вы еще и раздражены. А Головин — человек самолюбивый. В общем мало ли как повернется разговор... Ну, а нам еще лететь и лететь. Надо, чтобы у всех было хорошее настроение. У Головина —

особенно. Ведь вы же прекрасно знаете, как все мы зависим от разведки.

— Что ж его теперь по головке гладить?

— Не волнуйтесь, Марк Иванович! Думаю, все получится хорошо.

Головин сидел в компании летчиков, когда ему сказали, что Шмидт просит зайти. Павел встал, поправил гимнастерку:

— Ну все, парни! Не люблю, когда меня воспитывают. Можем прощаться. Пришлют вам из столицы нового разведчика, мальчика-паиньку.

В маленьком домике на окраине Нарьян-Мара, где расположилась экспедиция, перегородки между комнатами были тонкие, оттого любой разговор в повышенных тонах становился общим достоянием. Но из комнаты Шмидта ни одного слова слышно не было. Потому так и осталось тайной, о чем говорил начальник с провинившимся пилотом. Доподлинно известно только, что через полчаса Головин вышел в общую комнату, осторожно притворив за собой дверь. Удивленно оглядев летчиков, он сказал:

— Ну, парни! Никогда не думал, что меня можно так культурненько высечь.

Пилоты грохнули.

— Нет, правда,— сказал Головин,— девять начальников куда подальше посылал. Думал, сегодня юбилейный будет. Так нет же, сам снял штанишки, лег и попросил: шлепайте еще. Вот это да!

...Через три дня пришло сообщение о том, что над Новой Землей и в районе острова Рудольфа погода улучшилась. Только над Печорским морем стояла сплошная облачность. Если ее удастся пробить, дорога к базе экспедиции открыта. Шевелев послал Головина в разведку. Все самолеты были приведены в полную готовность и ждали сигнала к вылету. Павел долго молчал. После недавней «культурной порки» он

особенно старался выполнить задание. Через два с половиной часа после вылета Головин сообщил по радио, что, несмотря на несколько рискованных маневров, пробить облачность не удалось. Самолет начал обледеневать. Куски льда срывались с винтов и били по фюзеляжу. Ему был дан приказ немедленно возвращаться. Отяжелевшая машина плохо слушалась руля, посадить самолет удалось с большим трудом.

...Только 18 апреля, почти через месяц после вылета из Москвы, экспедиция добралась до своей основной базы на острове Рудольфа. Но главное было впереди. Полет на полюс требовал яркого солнечного дня и совершенно чистого неба. Ведь нужно было не только выбрать ровное поле для посадки, но и точно установить свои координаты астрономическим путем.

5 мая впервые синоптики сообщили обнадеживающие новости. Погода над полюсом начала улучшаться. Павел Головин на своем «Р-6» немедленно вылетел в разведку.

На базе экспедиции с нетерпением ждали от него вестей. «Каждые полчаса Головин сообщал состояние погоды и свои координаты,— вспоминал командир отряда тяжелых кораблей М. В. Водопьянов.— Мы читали его донесения прямо из-под карандаша радиоста. «Идем над сплошной облачностью высотой 2 000 метров,— говорилось в одной из радиограмм.— До полюса осталось 100—110 километров. Иду дальше».

— Как дальше? — удивился флагштурман экспедиции И. Т. Спирин. У него же не хватает горючего. Не лучше ли вернуть его?

— Горючего у него хватит,— возразил я,— Головин не без головы. А вернуть его, конечно, поздно. Попробуй верни, когда осталось всего сто километров до полюса. Я бы, например, на его месте не вернулся.

— Михаил Васильевич прав,— сказал, улыбаясь,

Отто Юльевич,— вернуть его трудно, почти невозможно. Я бы тоже не вернулся. Не люблю я постучаться в дверь и не войти.

Головин первым из советских летчиков достиг Северного полюса. Когда он повернул обратно, погода резко испортилась... Шесть часов не было Головина. И почти все это время Шмидт, заложив руки за спину и ссутулясь чуть больше обычного, молча ходил взад и вперед по радиорубке... Таковы были внешние признаки его большого волнения».

Головину чудом удалось вернуться на базу. Когда он подлетел к острову Рудольфа, кончилось горючее, аэродром на ледяном куполе острова затянуло туманом. И тогда Павел принял единственно верное решение — направил машину к узкой и короткой полосе песчаного пляжа неподалеку от полярной станции. Остановиться ему удалось всего в нескольких метрах от жилых домов.

Наконец 21 мая, по выражению Шевелева, «погода сжалилась над нами». В воздух поднимается флагманская машина (командир — М. В. Водопьянов, флагштурман — И. Т. Спирин). На ее борту кроме членов экипажа — четверка будущих хозяев Северного полюса, Шмидт и его старый друг кинооператор Марк Трояновский. После многочасового полета самолет пробивает низкую облачность. И вот долгожданная минута — они на полюсе!

Но остальные три самолета ждут на базе вестей, а рация флагмана еще в полете вышла из строя, последняя радиограмма оборвалась на полуслове. И потому на острове Рудольфа не знают их судьбы. Оборванная радиограмма слишком часто была в Арктике вестью о гибели.

Необходимо как можно быстрее наладить рацию зимовщиков. Спешно выгружается оборудование, ставится палатка, крепится антенна. Кренкель начи-

нает выстукивать позывные. Но ответа нет — на базе их не слышат. 12 часов бьется радист над своим передатчиком, пытаюсь наладить связь. И все это время Шмидт рассказывает по льду возле палатки. Кинокамера оператора Марка Трояновского сохранила для нас этот эпизод. Напряженное лицо Шмидта, ссутулившаяся спина, тяжелая походка. Он хорошо представляет, что творится в эти часы на базе экспедиции, на других полярных станциях, в Москве. Может, уже подняты в воздух, брошены на поиски самолеты. Но им не найти флагмана, пока не заговорит рация, пока не будут переданы в эфир его координаты. А ведь посадка на лед одной машины — это лишь начало. Нужно, чтобы все самолеты доставили сюда свой груз. Только тогда можно построить лагерь станции, обеспечить зимовщиков всем необходимым.

Но Шмидт рассказывает возле палатки молча. Волнение, лихорадочное биение мысли не отражаются на его лице. Он не взрывается, не кричит, не торопит. Он, как всегда, сдержан. Только десяток шагов по скрипучему снегу в одну сторону, десяток — в другую. Кренкель, его надежный товарищ по «Челюскину», не хуже начальника понимает, как нужна сейчас радиосвязь. Все возможное и невозможное он делает. И так двенадцать часов.

Наконец их услышали! Остров Рудольфа сыплет в эфир торопливую ответную морзянку. Шмидт обвиняет изможденного, еле живого Кренкеля, а потом спокойно и деловито спрашивает:

— Они подождут, пока я напишу радиограмму?

— Конечно, — возбужденно выдыхает Кренкель. — Конечно, они подождут.

...Первые дни на полюсе. Тринадцать человек разгружают флагманскую машину, строят лагерь. А погода держит остальные самолеты на базе. Проходят сутки, двое, трое. Взлет невозможен. Рация флагама-

на поломана безнадежно, а ведь она должна была сработать как маяк — вывести в их точку три другие машины. Аппаратура Кренкеля сконструирована так, что заменить в этом качестве самолетный передатчик не может. Главная задача экспедиции снова под угрозой. И если самолеты не долетят, за это в полной мере отвечать ему — Шмидту.

Кажется, чтобы выдержать все эти дни, когда нечеловеческим напряжением сил так много сделано, когда ты уже на полюсе, когда победа — вот она — рядом, в двух шагах, а все именно сейчас может полететь в тартарары, — кажется, чтобы выдержать это, не хватит никакого мужества. Но Шмидт как всегда деловит, собран, вежлив. Таскает вместе со всеми санки с грузами, обсуждает каждую деталь устройства станции, дает толковые советы, посмеивается над хозяйственной сметкой хитрого «Митрича» (Папанина), сумевшего запихнуть в самолет чуть не полтонны лишнего груза.

25 мая Кренкель отправляет на остров Рудольфа радиограмму: «На полюсе установилась ясная погода, облака уходят на юг». Снова поднимаются в воздух разведчики. Они сообщают, что в двухстах километрах севернее базы — чистое небо. А остров по-прежнему затянут низкими облаками, уже в тридцати — сорока метрах от земли — серое месиво. Но Шевелев все же дает приказ о вылете. Ждать дольше невозможно: ведь известно — с начала июня по август на острове Рудольфа не бывает летной погоды.

И через несколько часов люди в лагере уже слышат гул моторов. А вскоре на льдину опускается самолет. Его командир В. С. Молоков и штурман А. А. Ритслянд с абсолютной точностью сумели повторить маршрут флагмана.

Две остальные машины, не найдя сразу лагеря, садятся, как было условлено, во льдах в районе по-

люса, а затем связываются по радио с зимовщиками. На следующий день на льдину лагеря опускается самолет А. Д. Алексеева.

Хуже всего досталось молодому летчику Илье Мазуруку. Его самолет значительно отклонился от курса — на несколько десятков километров перелетел полюс. Лед в этом районе оказался изрезанным несколькими полосами торосов. Место для посадки удалось найти с трудом. А чтобы подняться в воздух, пришлось всем экипажем в течение восьми суток сбивать ледяные наросты, выравнивая полосу.

26 мая три самолета уже в лагере. Строительство идет полным ходом. За несколько дней все оборудование лагеря закончено.

Льдина приняла обжитой вид. Дрейфующая станция уже работает, регулярно ведутся научные наблюдения, метеослужба страны впервые получает ежедневные сводки с полюса.

Один эпизод тех дней врезался в память Шевелеву.

На шестые сутки после прилета, утром, впервые выдался свободный час. Шевелев вышел из палатки, огляделся и невольно почувствовал разочарование. Хотелось увидеть что-то необычайное. А льдина, истоптанная несколькими десятками пар сапог, исчерченная санными следами, выглядела так же, как полярные станции на островах: те же бочки с бензином, склады, антенна радиостанции. Конечно, Шевелев знал, что под ногами не земля, а лед, а под ним толща воды в несколько километров. Но именно знал — не видел, не ощущал. Стало обидно — неужели так и не испытаешь этого самого особого чувства полюса.

Не желая с этим мириться, Марк Иванович встал на лыжи и двинулся за ближнюю гряду торосов. И вот, когда лагеря не стало видно, — тут и подкатило.

Он стоял совершенно один, окруженный тишиной до звона в ушах. Только безмолвие оказалось не белым. День яркий, все залито солнцем, и его лучи будто красят снег — где в розовое, где в лиловое, где в желтое. И еще на снегу — синие тени торосов. Вдали чернеет долина, по ней плывут два айсберга, почти прозрачные, бирюзовые на просвет.

Шевелев присел на выступ тороса и сидел неподвижно, стараясь сохранить в себе это пришедшее в тишине чувство полюса. Просидел он долго, даже снег вокруг него подтаял. Потом глянул на часы — и присвистнул: подходило время связи с Мазуруком, надо было скорее в лагерь.

По дороге к рации Шевелев заглянул в свою палатку, где жил вместе с начальником экспедиции. Там сидели четверо: Шмидт, Водопьянов, Молоков и Бабушкин, — забивали «козла».

Только что виденное чудо так не вязалось с самым обычным домино, что у Шевелева невольно вырвалось:

— Как же это, братцы? Полюс, а вы в «козла».

Летчики посмотрели на своего прямого начальника виновато, будто упрек касался каких-то упущений по службе.

Ответил за всех Шмидт.

— Ничего, Марк Иванович, — сказал он, улыбаясь. — Это не простой «козел» — полюсный, самый принципиальный. Кто проиграет, тому во всю жизнь не отыграться.

Только сейчас, взглянув на Шмидта, Шевелев увидел, до чего же устал начальник экспедиции. Всем, конечно, досталось за два месяца перелета, но ему особенно. Потому, видно, и необходима была Шмидту разрядка: что-нибудь самое простое, вроде этого «козла», — хоть на время расслабиться.

5 июня Мазурук благополучно взлетел с самодельного аэродрома и всего через час посадил машину в лагере. Разгружали ее спешно. Нельзя было упустить последнюю возможность для возвращения на материк.

Шмидт торжественно открыл станцию, над полюсом взвился флаг Советского Союза. Потом долго прощались с зимовщиками. Наконец самолеты поднялись в воздух, легли на обратный курс. На льдине осталась папанинская четверка.

Возвращение в Москву тоже было нелегким. Арктика еще не раз показала свой нрав. Лишь через двадцать дней после вылета машины экспедиции приземлились на столичном аэродроме. Москва встречала полярников так же радостно, как в наши дни встречает героев космоса.

27 июня 1937 года ВЦИК принял постановление о присвоении Шмидту звания Героя Советского Союза.

А из лагеря папанинцев приходили воистину сенсационные сообщения, заставлявшие совершенно менять существовавшие в науке взгляды на природные условия полюса.

В этом районе, прежде считавшемся безжизненным, гидробиолог П. П. Ширшов обнаружил разнообразную флору и фауну.

Глубины в центре Арктики оказались, по измерениям Е. К. Федорова, намного больше, чем предполагалось, — свыше четырех километров.

Уже первые недели работы станции заставили сбросить с макушки планеты гипотетическую шапку холодного воздуха — постоянный антициклон. Наблюдения показали, что над полюсом так же часто, как над средней Россией, проносятся цепочки циклонов.

В глубинных слоях океана папанинцы обнаружили теплые струи Гольфстрима. А прежде ученые счи-

тали само собой разумеющимся, что так далеко это течение не забирается, потому и не признавали существенного влияния Атлантики на природу Центрального Арктического бассейна. Теперь роль Атлантического океана обозначилась четко и рельефно.

Но если Гольфстрим распространяется по глубине до самого центра Арктики, то поверхностная вода, как бы подпираемая снизу теплыми струями, должна постоянно стекать в пролив между Гренландией и Шпицбергом. Так образуется холодное течение, определяющее направление дрейфа многих ледяных полей в районе полюса, вытаскивающее айсберги на оживленные морские дороги Северной Атлантики.

Сведения, добытые четверкой папанинцев, позволили, наконец, ясно представить игру природных сил в районе полюса. Прежние концепции о взаимоотношении здесь ветров, течений, направления дрейфа трещали, как льды во время торошения. Но ведь именно на этих концепциях основывались планы работы станции — представление о том, как будет перемещаться льдина зимовщиков по арктическим морям. И здесь дело, конечно, не в чьем-нибудь недомысле, неумении заглядывать в будущее, близорукости. Других-то концепций просто не было! Для того и высадили папанинцев на полюсе, чтобы узнать, что там на самом деле происходит.

Однако от вновь открытых закономерностей прямо и непосредственно зависела судьба самих исследователей. И добытые ими сведения ничего доброго четверке папанинцев не обещали.

Уже к концу 1937 года стало ясно, что их льдина медленно вертеться вокруг полюса не будет, как это предполагалось. Ей предначертан другой путь — на юг, в Гренландское море. А значит, и заранее заготовленные варианты снятия зимовщиков не годятся.

В Главсевморпути срочно разрабатывались новые планы операции.

Но Арктика готовила еще более неприятный сюрприз: скорость дрейфа оказалась во много раз больше, чем предполагалось. В июне льдина проходила в сутки около полутора миль. Довольно резвое движение. Но ученые считали, что к зиме дрейф пойдет намного медленнее, ибо мелкие льдины смерзнутся в огромные поля и течение не сможет быстро передвигать эти махины.

Вышло все наоборот. Скорость дрейфа росла от месяца к месяцу. В августе — две с половиной мили в сутки, в ноябре — уже четыре.

И тут еще новость: сменилось направление дрейфа — с юго-восточного на юго-западное. Это значило, что льдина поплывет не по центральной части Гренландского моря, где на ее пути не было бы никаких препятствий, а в непосредственной близости от самой Гренландии — там же, как и во всяком прибрежном районе, происходят постоянные сжатия льдов и то-рошения.

В начале января 1938 года станция была заброшена в мелководный район — неподалеку от величайшего острова планеты. Глубина теперь падала день ото дня: уже не прежние 4000 метров, а 230 метров, 200, 160.

И при этом столь же постоянно росла скорость дрейфа. 6 января Федоров зафиксировал рекордный рывок льдины: всего за 43 часа было пройдено 30 миль. А скорость 10 миль в сутки (почти в 7 раз большая, чем в июне!) стала обычной.

Положение складывалось тревожное. Ни один из вариантов снятия папанинцев со льдины не был рассчитан на такое быстрое перемещение. При этом сильно восторошенные льды у побережья Гренландии не позволяли использовать тяжелые самолеты. Да и

возможность найти площадку для легких машин вызвала сомнения. Ледоколу тоже было нелегко пробиться сквозь торосистые зимние льды.

Между тем льдину зимовщиков много раз крушило и ломало. От того огромного поля, на котором у мае хватило места для посадки и взлета тяжелых машин, остался лишь небольшой обломок. Он то странствовал в тесном окружении таких же льдин, бившихся и напиравших друг на друга, то плыл, постоянно подтаивая, по чистой воде.

Для Шмидта наступили дни, пожалуй, еще более трудные, чем в период челюскинской эпопеи. Ведь тогда он сам был на льдине, сам руководил жизнью лагеря и сам рисковал вместе со всеми. Теперь он находился в Москве, а четверо зимовщиков боролись за жизнь среди льдов у далекого берега Гренландии. Главсевморпуть стал штабом операции по снятию папанинцев.

В Ленинграде и Мурманске готовились к выходу судна, поднимались на борт самолеты-разведчики.

2 февраля Кренкель передал: «В районе станции продолжает разламывать обломки полей, протяжением не более 70 метров. Трещины от 1 до 5 метров, разводья до 50. Льдины взаимно перемещаются по горизонту, лед 9 баллов, в пределах видимости посадка самолета невозможна. Живем в шелковой палатке на льдине 50 на 30 метров... Привет от всех. Папанин».

Еще с осени Шмидт искал судно, чтобы выслать его в Гренландское море. Но ни у Главсевморпути, ни у других ведомств не было в то время корабля, готового к трудному арктическому плаванию. Весь ледокольный флот после окончания летнего сезона ремонтировался в доках. И как ни старались сжать сроки ремонта, все же выходило, что кончится он только в марте.

После долгих поисков одно судно все же нашлось. Но это был не ледокол и не ледокольный пароход, а небольшой гидрографический бот «Мурманец». Он вышел в поход 11 января, с огромным трудом пробился под парусами через штормовое Гренландское море и стал патрулировать у кромки ледяных полей. «Мурманец» мог помочь папанинцам лишь в том случае, если бы их льдину выбросило на чистую воду.

В течение января Шмидт прилагал все усилия к тому, чтобы ускорить выход в море судов, способных бороться с тяжелым льдом. На судоремонтных заводах Ленинграда и Мурманска денно и нощно сидели представители Главсевморпути. Они объясняли сложившееся положение, выбивали запчасти, помогали оснащать суда всем необходимым для похода. Новые сообщения со льдины заставили работать еще быстрее, еще напряженней, хотя, казалось, снарядить суда в более короткий срок невозможно. Дальнейший ход операции можно проследить по дням.

3 февраля из Мурманска выходит ледокольный пароход «Таймыр», на борту которого три легких самолета-разведчика.

5 февраля на помощь папанинцам отправляется подводная лодка.

7 февраля через Гренландское море пробивается ледокольный пароход «Мурман».

8 февраля папанинцам снова приходится трудно. Штормовой ветер опять ломает льды. Сорваны легкие шелковые палатки, в которых приходилось жить последнюю неделю, перевернуты нарты с оборудованием, трещат антенны радиостанции. Утром, когда ураган стихает, перед зимовщиками открывается величественный вид на горы Гренландии. До берега всего 50—60 миль.

Буря основательно потрепала и покорежила идущие на помощь папанинцам суда. Им пришлось по-

терять сутки, уйдя с курса и штормуя носом на волну.

Сообщения об этих событиях Шмидт читает в Ленинграде. Он вылетел сюда, чтобы ускорить отход ударной силы Главсевморпути — ледокола «Ермак». 8 февраля ледокол выходит из дока. Но надо погрузить топливо. Шмидт обращается за помощью к военным морякам. Две тысячи краснофлотцев всего за 14 часов перебрасывают на борт ледокола три тысячи тонн угля.

9 февраля «Ермак» под командованием капитана В. И. Воронина уже штормует льды Финского залива. На его борту выходит в море Шмидт.

10 февраля «Таймыр» в Гренландском море достигает кромки льдов, устанавливает радиосвязь с папанинцами и движется к лагерю.

12 февраля Кренкель ранним утром будит своих товарищей криком: «Огонь на горизонте!» Он первым увидел прожектор «Таймыра».

15 февраля на ледовые аэродромы возле борта «Таймыра» и борта подошедшего вслед за ним ледокольного парохода «Мурман» спущены самолеты-разведчики. К лагерю папанинцев вылетают пилоты И. И. Черевичный и Г. П. Власов. Однако из-за внезапного снегопада ни одному из них не удается сесть на подготовленный зимовщиками аэродром. Власов опускается на лед возле «Мурмана». Второй самолет — маленькая амфибия — на базу не возвращается. Папанинцы предлагают остановить все работы, пока не станет известна судьба самолета-амфибии.

17 февраля опытный полярный летчик Власов совершает посадку на аэродром папанинцев и передает им подарок от моряков «Таймыра» — пиво и мандарины. В тот же день Власов обнаруживает во льдах машину Черевичного и вывозит ее экипаж. Во время поисков амфибии летчик проводит разведку льдов.

По его указанию намечен маршрут судов к большой полынье, открывшейся неподалеку от лагеря папанинцев.

18 февраля «Таймыр» и «Мурман» общими усилиями пробиваются сквозь льды.

19 февраля в 14 часов оба судна, преодолев последние перемычки, швартуются к льдине в двух километрах от лагеря. Моряки по льду добираются до станции. Под большим торосом, над которым укреплен флаг СССР, зимовщики встречают экипажи ледокольных пароходов. В 16 часов Кренкель передает в эфир последнее сообщение с дрейфующей станции «Северный полюс». Папанинцы поднимаются на борт «Таймыра». Сюда же доставлено из лагеря все имущество станции.

21 февраля четверка зимовщиков пересаживается в море на борт ледокола «Ермак», где их встречает Шмидт.

Подводя итоги всей операции, Папанин через несколько лет писал: «Осуществился самый невероятный вариант снятия: корабли почти вплотную подошли к льдине. И это, конечно, не было делом случая. Только огромный опыт наших полярных моряков и полярных летчиков позволил провести ледокольные корабли почти к берегам Гренландии, где в это время года никогда раньше не бывали суда. Ведь сама мысль о возможности проникнуть на судах в этот район многим казалась утопической и нереальной».

Ленинград и Москва торжественно встречают полярников. Экспедиция на Северный полюс закончилась блестящей победой. Шмидт обдумывает новый план исследования Арктики.

Но еще в первых числах февраля один из старых товарищей конфиденциально сообщил начальнику Главсевморпути: «наверху» им недовольны.

Товарищ сказал: сложилось мнение, что Главсевморпуть не обдумал всерьез всех деталей операции по снятию четверки папанинцев, довел дело почти до трагического исхода.

Шмидт устало пожал плечами — разговора он не поддержал, было не до того. Да и старому товарищу на этот раз не поверил. Ведь ясно же: если люди остаются на полюсе, чтобы узнать, как и по какому маршруту дрейфует лед, то, сколько ни гадай, заранее путь их льдины не угадаешь.

Шмидту, однако, пришлось вспомнить об этом разговоре летом того же 1938 года, когда в одной из центральных газет появилась статья, в которой Главсевморпуть резко критиковался за «самоуспокоенность и зазнайство», проявленные при снятии со льдины папанинцев. Имя Шмидта в статье названо не было, но не вызывало сомнения, в чей огород камешек.

Через полгода Шмидту сказали, что с Арктикой ему придется расстаться.

Но всему этому еще предстояло случиться.

А в феврале 1938 года Шмидт, гордый новой победой в изучении Арктики, счастливый оттого, что папанинцам больше не грозит беда, разъезжал вместе с четверьмя зимовщиками по Москве с одной торжественной встречи на другую.

Это был зенит его славы, время, когда во всей стране, да, пожалуй, и во всем цивилизованном мире невозможно было найти человека, не знавшего его имени.

Недаром один из шведских полярников сказал в те дни, что результаты воздушной экспедиции на полюс и работа дрейфующей станции по своему значению могут быть сравнимы с открытием Америки Колумбом или первым кругосветным путешествием Магеллана.

Они не могли понять, что Шмидт умирает. Это нелепое младенческое недомыслие доводило Ирину Владимировну до отчаяния. Муж сдавал на глазах, а все — и друзья, и знакомые, и совсем незнакомые люди — обращались к нему по-прежнему со своими делами и заботами, будто ничего не случилось.

Как всегда, почтальонша по утрам приносила им толстые пачки писем. И, как всегда, многие из них были просьбами о помощи. Ирина Владимировна давно уже взяла на себя обязанности секретаря мужа. Когда состояние здоровья Шмидта резко ухудшалось, ей приходилось писать, что Отто Юльевич тяжело болен, поэтому ни сейчас, ни в ближайшие месяцы он, к сожалению, ответить не сможет.

Кажется, яснее не скажешь. Но многие ей не верили, писали вновь, настаивая и даже требуя, чтобы им ответил сам Шмидт. У них в голове не укладывалось, что герой легенд, совершавший столько раз невозможное, удивлявший своими подвигами мир, может быть больным и бессильным.

Удивительно, но и друзья и знакомые, видевшие, как изменился Шмидт за последние годы, не могли поверить в его близкую смерть. Ведь сколько раз — и после челюскинской льдины и в сорок пятом — медики твердили: угрожающее положение, возможен летальный исход. Но он поднимался вопреки всем недобрым прогнозам и жил широко, размашисто, пошмидтовски. Да и сейчас разве он похож на умирающего? Конечно, приходится лежать. Но ведь не киснет, не опускается — спорит, шутит, смеется. Значит, опять встанет.

А ему становилось все хуже. Весной сорок шестого, когда врачи разрешили вернуться из Крыма в Мо-

скву, было лишь временное отступление болезни. Процесс остался — и в легких, и в горле. Врачи выпустили его в мир с великим множеством ограничений. От него требовали: беречься, беречься и беречься. А он за полгода в санатории истосковался по нормальной жизни. Недаром незадолго до отъезда из Крыма он писал одному из первых своих сотрудников по отделу эволюции Земли — Левину: «Дорогой Борис Юльевич! Спасибо за книжные и журнальные новинки, которые Вы мне так любезно послали. Это было замечательной пищей для удалившегося — невольно — в духовную пустыню».

И вот он снова в Москве, где астрономы и геофизики спорят о его теории. Как же возможно беречься? Это тем более нелепо, что Шмидт знает: к его возвращению готовились и единомышленники и оппоненты. На начало июня в Государственном астрономическом институте назначен доклад. Уже вывешены объявления, разосланы повестки. И тут врачи восстают: Шмидту еще нельзя помногу говорить. Он не может с ходу одолеть их напор и сдается: ладно, пусть снимают доклад. Но письма противников, их статьи в печати, на которые он уже знает, что возразить, побуждают к немедленному действию. Нет, он не имеет права отказаться от доклада, он должен защитить свое детище. Молчание будет походить на предательство. И Шмидт торопливо — чтоб не опоздать, чтобы в Астрономический институт не сообщили о его отказе — пишет карандашом записку Козловской: «Дорогая Софья Владиславовна! Обдумав положение, я пришел к выводу, что доклад в ГАИШ должен состояться при любых условиях. Беречь горло буду до и после. Прошу Вас поэтому ничего не говорить об отмене...»

И он делает доклад, выступает в прениях, парирует возражения оппонентов. Его речь, как всегда,

блистательна, в ней все прежнее: неожиданные идеи, четкие аргументы, изящная колкость острот, взрывной темперамент. И никто из сотен людей, сидящих в зале, не может поверить, что этот человек только несколько часов назад встал с постели, что после окончания диспута он — ценой невероятных усилий — доберется до дому и свалится опять в постель. Потом несколько дней будет приходиться в себя и говорить шепотом, а то и вовсе молчать и только писать коротенькие записки на вырванных из блокнота листках.

Иногда на недели мир суживается для него до размеров квартиры, комнаты, кровати. Но и это чаще всего не потерянные дни. Он продолжает работать над своей космогонией.

А когда болезнь отступает, когда хватает сил на то, чтобы встать, надеть костюм, завязать галстук и старательно бодрым шагом (чтобы жена не остановила) дойти до лифта, Шмидт садится в машину и едет в институт. Ведь он — директор, и отнюдь не формальный директор, ни один важный вопрос жизни Института теоретической геофизики не решается без его участия.

Причем в этом качестве он отнюдь не всегда — сплошная гуманность и доброта. Когда нужно, Шмидт умеет показать силу своего гнева, умеет «культурно выпороть», как некогда заметил пилот самолета-разведчика Павел Головин.

И след такой «порки» — весьма своеобразный — остался в письме одного сейсмолога: «Многоуважаемый и дорогой Отто Юльевич! Мы, сотрудники сейсмологической лаборатории (беру на себя смелость писать от имени всех) очень рады, что уход лаборатории из института не состоялся и мы остались с Вами. Это выход, о котором мы мечтали. Я никогда не забуду того совещания в сейсмолаборатории, ког-

да Вы меня чуть не избили за моделирование. Во всяком случае, я именно так себя чувствовал. Да и сейчас это, пожалуй, еще не прошло. Выздоровливайте! Вас очень не хватает».

Болезнь не изменила его нрава. Поэтому и у научного сотрудника та же реакция на критику, что у лихого пилота,— «выпороли», «избили». Но главное, что при этом сейсмолог рад остаться под началом Шмидта, не хватает ему директора. Да, это надо уметь так «избивать» и «пороть», чтоб не отталкивать от себя людей, а только еще больше привязывать их к делу. Тут ведь каждая нота голоса имеет значение. Раздражения, грубости даже на болезнь никто не спишет.

То в институте, то у него дома, то на даче регулярно идут семинары по космогонии, по два, по три, а когда хватает сил, и по четыре раза в месяц. Метод прежний — мозговой штурм. Один из сотрудников отдела эволюции Земли или кто-нибудь из приглашенных ученых делает доклад, а потом все — ватагой — набрасываются на его построения, стараясь смять, сломать, уничтожить конструкцию. Работа идет, как на специальном автодроме, где, испытывая на прочность только что сконструированный новенький автомобиль, его бьют о стены, гонят на невымыслимо крутой уклон, заставляют падать и переворачиваться колесами вверх. Безжалостная работа! Она требует изощренности ума, напряжения всех способностей и знаний. Торопливые одобрительные слова здесь считаются дурным тоном. Идет турнир — кто выищет зазор в логических выкладках? Где слабина, где просчет, где ненадежен фундамент?

И под этим дружным напором теория обретает все более стройный вид. Уже кое-что вполне определенно можно сказать о захвате двумя космическими телами третьего. Вероятность его мала, но не ис-

ключена вовсе. Генрих Францевич Хильми вслед за Шмидтом строго математическим путем показал необоснованность теоремы Шази. Это переворот в фундаментальной проблеме. Под одну из важнейших идей Шмидта подведено основание из строгих и бескомпромиссных формул.

Однако становится все более ясно, что захват — пока все же гипотеза и ему еще долгое время пребывать в этом качестве. Главное другое — проследить возможные пути построения планет из газопылевого облака. И работа в этом направлении все расширяется.

Статьи, лекции, доклады, с которыми выступает Шмидт, увеличивают ряды сторонников его теории. Некоторые из них переходят на работу в отдел эволюции Земли. Число его сотрудников растет. А с ростом отдела появляется возможность и более широким фронтом атаковать проблему.

А тут и болезнь как будто отступает. Летом сорок шестого и вовсе возникает надежда, что ему удастся справиться с туберкулезом. Ведь пришло время, когда все науки движутся вперед семимильными шагами. Шмидт работает над космогонией, а во всем мире медики бьются над проблемами самых трудных и опасных болезней.

4 августа 1946 года Шмидту передают короткую записку Президента Академии наук СССР Сергея Ивановича Вавилова: «Глубокоуважаемый Отто Юльевич! К Вам придет Л. С. Штерн переговорить о возможности лечения Вас стрептомицином, который (к сожалению, в небольшом количестве) привез в Москву его изобретатель профессор Ваксман из Принстона и передал в мое распоряжение... Надеюсь, что стрептомицин Вам несколько поможет».

Шмидт тоже надеется. Всю жизнь именно вера в науку, в разум питала его оптимистический взгляд

на мир. Он убежден, что медицина в конце концов справится и с человеческой немощью — противоестественной по самой своей сути. Весь вопрос во времени. Так, может, ему повезло? Может, надежное средство появилось именно тогда, когда ему оно больше всего нужно?

Новое лечение начали применять с осени, Шмидт заметно пошел на поправку. Не иключено — ему и вовсе бы удалось одолеть тогда туберкулез, если бы он получил полный курс уколов. Но к началу лечения у Шмидта части лекарства уже не было. О том, что ему отдали стрептомицин, узнали многие, и его стали настойчиво просить поделиться ценнейшим лекарством. Сперва молодая женщина сказала, что всего одна ампула сможет спасти ее дочь. И Шмидт, выйдя в другую комнату, попросил жену:

— Дай ей, пожалуйста. Ведь ребенок.

Потом приходили другие просители. Он снова виновато прятал глаза и говорил:

— Дай, пожалуйста, ничего, мне хватит.

И, казалось, действительно хватило. Он теперь по целым неделям чувствовал себя сносно и потому с рвением стосковавшегося по работе человека набросился на космогонию, на институтские и всякие другие дела.

За будущее тоже не было оснований тревожиться. Он знал, что Академия наук обратилась к правительству с просьбой закупить в США партию стрептомицина, получила согласие. И уже начались переговоры с американцами об этой покупке. Поэтому Шмидт не сомневался, что через несколько месяцев, когда ему понадобится провести второй курс, лекарство у него будет.

К концу зимы 1947 года он чувствует себя настолько здоровым, что решается предпринять поездку в Ленинград, о которой давно мечтал. Ленинград-

ские астрономы не раз приглашали его прочитать цикл лекций о теории происхождения Земли — она и в Пулковской обсерватории, и в Институте теоретической астрономии, и в университете вызвала много споров. Поездка в Ленинград — это новые критические замечания, новые попытки расшатать конструкцию. И в то же время — поиск новых сторонников.

Ленинградцы, узнав о согласии Шмидта приехать, решили использовать его «на всю мощность». Пулковская обсерватория и Институт теоретической астрономии устроили не просто цикл лекций, а большую научную конференцию.

Конференция шла пять дней — с 10 по 15 марта. Шмидт сделал три доклада, в которых излагал не только уже опубликованные статьи, но и рассказывал о последних, недавно законченных работах его отдела. Доклады имели большой успех.

Шмидт возвращается в Москву ободренным. Давно у него не было такого радостного настроения. Собственно, после пяти лет разработки теории впервые она получила признание у большой группы специалистов.

Словом, у него были все основания праздновать первую победу. Недаром позднее он писал Козловской: «До сих пор я вспоминаю часто ленинградские дни, как один из самых ярких эпизодов моей не бедной событиями жизни».

А потом наступило трудное время. Весной туберкулез снова дал о себе знать. Когда возобновили уколы стрептомицина, желанного эффекта добиться не удалось.

Еще через год у него уже не было сил часто выбираться в институт, влезать, как прежде, во все дела. Он вынужден был отказаться от директорского поста. Но этот поступок Шмидта некоторые его коллеги истолковали по-своему. Они сочли, что бо-

лезнь — только предлог, а истинная причина его ухода в том, что надоела административная деятельность и хочется наконец-то целиком и полностью заняться своей теорией.

Некоторые основания для таких суждений действительно были. Поворот его интересов от административной работы к науке обозначился давно. И это отразилось в одном небольшом стихотворении Шмидта. Вообще он стихов не писал, вернее писал редко и больше ради шутки. А тут вдруг — в 1925 году — взял и изложил нахлынувшие на него мысли в нескольких строфах. Видно, желание познавать так захватило его, что проза казалась слишком обыденной.

«Без жалости я обменял коня,
Взял новое оружие и латы.
Блестает путь, чудесностью маня,
И прошлого уже не жаль утраты.
Семь лет уж держит в упряжи меня
Та сила, что смела дворцы и хаты
И, песней новой над землей звеня,
Возводит новые взамен палаты.
Семь лет я кирпичи кладу той стройки
строгой,
Но манит чаще мысль меня одна,
Что ту же цель я выполню иной дорогой:
С природы тайн срывая пелену,
Я той же цели послужу подмогой!»

Двадцать пятый год — это время, когда он создает первые наброски по космогонии. Но это и время величайших преобразований в стране, когда на счету каждый образованный, опытный работник, преданный новой власти. Шмидт это, конечно, понимал, а потому и продолжал «класть кирпичи той стройки строгой». Но выплеснувшаяся в стихи мечта жила в нем.

И вот на склоне лет, он, отдавший более четверти века своей жизни той работе, которая в это время

больше всего была нужна его Родине, получил наконец возможность осуществить старую мечту.

Он многое переосмыслил за годы болезни и теперь не воспринимал уже так остро, как прежде, свой уход с высокого административного поприща. «...Мне особенно вспоминаются встречи с Отто Юльевичем в последнее десятилетие его жизни, когда, мужественно борясь с тяжелой болезнью, он стоял в стороне от крупной государственной работы, но зато имел счастье сделать большой вклад в науку,— писал академик А. Н. Колмогоров.— К «понижению» своего официального положения Отто Юльевич относился юмористически. Как-то вместе с ним... мы поехали по делам Геофизического института в Президиум Академии наук, просидели несколько часов на диванчике в неясности, состоится ли интересовавшая нас беседа. Уезжая домой, он сказал: «Может, и я не всегда замечал посетителей, проводивших часы в таком положении»».

Это Шмидт сказал, пожалуй, зря. Ни друзья, ни недруги не упрекали и не упрекают его в подобных грехах. Но и за брошенной между делом фразой можно почувствовать, что перспектива снова получить в руки «высокую власть», а значит, и обязанность размышлять о том, не ждет ли тебя на диванчике забытый проситель, вряд ли казалась ему заманчивой...

Еще в сорок шестом году Шмидту предложили написать монографию по космогонии. Тогда он не считал себя готовым к такой работе — слишком много еще было разделов, строившихся на догадках, не подкрепленных строгой логикой выкладок и формул. Поэтому от лестного предложения отказался.

В конце сорок восьмого года Шмидт прочитал сотрудникам Геофизического института четыре ле-

кции, в которых подробно и систематически изложил свою теорию. Прочитал — и сам удивился, какую стройность обрели в его конструкции многие этапы формирования Земли и планет.

Несколько дней, которые понадобились, чтобы прийти в себя после многочасовых выступлений, он сумел также обратить на пользу дела. Сидел в своем домашнем кабинете и приводил в порядок конспекты лекций, подыскивая более точные формулировки, проясняя стыковочные места. А когда кончил эту работу, когда еще раз перечитал, что получилось, вдруг рассмеялся. Заглянувшей в кабинет жене Шмидт сказал:

— Помнишь в Библии? «Вначале сотворил Бог небо и землю... И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю... И поставил их Бог на тверди небесной... И увидел Бог, что это хорошо». Я тоже сотворил свою Землю и планеты. Правда, не всю Вселенную — только Солнечную систему. Но, честное слово, мне кажется, что это хорошо.

Седобородый, бледный, с горящими глазами, он, и правда, похож был в этот момент на творца мира.

В тот вечер он твердо решил: настало время опубликовать систематическое изложение своих взглядов — и предложил издательству Академии наук напечатать его лекции.

Через год небольшая, всего в 70 страниц, брошюра вышла в свет, она так и называлась: «Четыре лекции о теории происхождения Земли». С ее выходом дискуссии по поводу теории Шмидта вспыхнули с новой силой. Статьи в печати и обсуждение «Лекций» во многих научных учрежде-

ниях явно показывали, что небольшой книжке удался «захват» новых сторонников идеи.

Но яснее обозначились и противники. Среди них были серьезные, крупные специалисты, подходившие к проблеме с иных позиций. Теорию Шмидта, например, не признавал известный советский ученый, академик Виктор Амазаспович Амбарцумян. Главное его возражение в том, что космогонию Солнечной системы можно создать лишь после того, как будет создана звездная космогония. Только с ее помощью, по мнению Амбарцумяна, могут быть вскрыты наиболее фундаментальные законы образования небесных тел, которые и должны лечь в основу представлений о рождении и формировании планет.

В принципе Шмидт этого не отрицал. И потому опубликовал несколько работ по звездной космогонии. Но Амбарцумян именно эти труды Шмидта критиковал наиболее резко, считая, что в данном случае конструкции ума противоречат многочисленным наблюдениям над реальной жизнью Вселенной. Нельзя, правда, сказать, что известный астроном не оставлял камня на камне от метеоритной теории. Он неоднократно подчеркивал, что многие конкретные положения новой космогонии представляют, по его мнению, выдающиеся открытия. И потому с большим уважением относился к ее творцу. Позднее он писал: «Я вспоминаю свои встречи с Отто Юльевичем, научные беседы и споры. Во всех этих случаях, независимо от согласия или разногласия друг с другом, у меня осталось впечатление о его настойчивом и пытливом уме, о неизменном стремлении понять собеседника».

Словом, возражения Амбарцумяна всегда строились по строжайшим законам научной полемики, в которой обе стороны проявляют одинаково горя-

чую заинтересованность в одном — выяснить истину.

Но далеко не все, кто бурно выражал свое несогласие с новой космогонией, были вдохновлены благородным стремлением к познанию законов природы. Некоторых оппонентов беспокоило совсем другое: теория Шмидта наносила удар по их собственным конструкциям.

Короче говоря, на иных заседаниях, где теория Шмидта должна была вроде бы разбираться по существу, стали раздаваться громкие обвинения в адрес ее создателя. Как-то случилось: один и тот же оратор обвинил Шмидта в том, что он 1) механицист, 2) позитивист, 3) агностик. Оратору и в голову не пришло, что столь несхожие грехи никак не могут соединиться в одном, даже самом великом грешнике, ибо все три философские системы, к которым Шмидт был причислен, отрицают друг друга и находятся в непримиримой борьбе.

Шли месяцы, а заявления о приверженности Шмидта к разным направлениям буржуазной философии перекачивались с одного обсуждения на другое, опасно застревая в ушах.

В начале 1951 года Шмидта вызвали в Президиум Академии и сказали, что на апрель намечено большое совещание по вопросам космогонии. Шмидта предстоящее совещание обрадовало — ведь со всей страны съедутся специалисты. Значит, снова проверка, критика, поиск новых сторонников.

Решение совещания, принятое после четырехдневного обсуждения доклада Шмидта, четко определяло, в чем достижения новой теории и что в ней недоработано. Оно положило конец наскокам не в меру горячих оппонентов.

«Появление космогонической теории О. Ю. Шмидта, — говорилось в решении, — привлекло к вопро-

сам космогонии внимание ряда советских ученых разных специальностей, оно способствовало широкому развитию космогонических работ в нашей стране и нанесло серьезный удар по агностицизму в этой области... Такая полнота объяснений с единой точки зрения основных черт строения Солнечной системы получена в космогонии впервые. Заслугой О. Ю. Шмидта является также активное сближение космогонии планетной системы с науками о Земле».

Словом, несмотря на «весеннее самочувствие», настроение у Шмидта было отличным. После девяти лет работы пришло наконец официальное признание.

В том, что и официальное отношение к нему снова изменилось к лучшему, Шмидт убедился летом, когда у него осторожно и очень тактично попытались выяснить, как он хотел бы, чтобы был отмечен его юбилей. 30 сентября 1951 года ему исполнялось шестьдесят лет. От каких-либо «торжественных мероприятий» Шмидт отказался сразу и наотрез. Но ему намекнули, что такая категоричность ставит Академию в неловкое положение: и в нашей стране, и тем более за рубежом, могут подумать, будто его заслуги не оценены по достоинству, и советовали еще подумать. Сотрудник Президиума, проводивший эту тонкую и осторожную беседу, проявил недюжинную эрудицию — напомнил Шмидту, что его учитель, академик Граве, не пренебрегал юбилейными торжествами. Вежливый сотрудник так и не понял, почему в ответ на эту реплику Шмидт по-мальчишески расхохотался, а потом еще раз повторил свой отказ.

К Дмитрию Александровичу Граве, который в предреволюционные годы был ординарным профессором Киевского университета имени святого Владимира, Шмидт всегда относился с большим уважением и легко прощал ему традиционные профессорские

чудачества. В семинаре Граве молодой Шмидт постиг основы высшей алгебры, под его руководством создал в 1916 году «Абстрактную теорию групп», во вступлении к которой вставил совершенно искренне благодарственные слова учителю. Повторил он их и через полтора десятилетия в предисловии ко второму изданию этой работы. Однако со временем чудачества старого математика приобрели своеобразный характер и нередко ставили Шмидта в затруднение.

С конца двадцатых годов Граве, уразумев, что его любимый ученик занимает видное положение, стал обращаться к Шмидту с многочисленными просьбами. Иные из них были совершенно неожиданного свойства.

15 октября 1935 года Шмидт получил из Киева очередную длинную реляцию, которая начиналась так: «Дорогой Отто Юльевич! Некоторые неприятности личного характера заставляют меня отнять у Вас время». Далее в подробностях излагались эти самые, не слишком значительные обстоятельства, суть которых была в том, что в Киеве недостаточно, по мнению Граве, оценивают его, в то время уже почетного академика, заслуги перед наукой: «Я имею теперь все основания опасаться, что мой юбилей проведут так, что я переживу еще худшее... Если его проведут тускло и бледно, не известив даже моих иногородних учеников, то лучше бы не заводили дело». Из письма становилось ясно, что юбилей старого математика вообще могут не отметить, и это приводило Граве в отчаяние. Шмидт хорошо знал, что его учитель не одно десятилетие честно и плодотворно проработал в науке. И если старику так хочется, чтобы юбилей был отмечен, то никто не в праве ему отказать. Неизвестно, что именно написал тогда Шмидт в Киев, но о характере его послания нетрудно догадаться по сле-

дующему письму Граве, датированному 24 декабря 1935 года: «Дорогой Отто Юльевич! Благодарю Вас за теплую телеграмму, которая произвела на всех сильное впечатление. Не имея возможности повидаться с Вами на юбилее, я надеюсь вскоре увидеть Вас в Москве, так как мне придется приехать за орденом. О сроке моего приезда буду телеграфировать...»

Граве приехал в Москву в мае 1936 года. Шмидт в это время готовился к выполнению ответственного правительственного задания, имевшего важное значение — проводке эскадры военных кораблей Северным морским путем. Однако он сумел выкроить время, чтобы тепло принять своего учителя. И даже несколько перестарался в этом. Перед самым отъездом, когда Шмидт на машине привез Граве вместе с его дочерью и зятем на вокзал, старый математик вдруг побледнел от острого приступа тошноты. О причинах своего внезапного недуга Граве сам вскоре писал Шмидту: «Дорогой Отто Юльевич! Приехали мы в Киев без особых приключений, если не считать случая со мной на московском вокзале. Всю дорогу я, однако, себя чувствовал неважно, вследствие объединения в день отъезда после переполнения желудка на банкете»...

Через пятнадцать лет после этого неисторического события, в канун собственного шестидесятилетия, Шмидт вспомнил тогдашний приезд Граве. Во всем облике его учителя, как и в письмах, ощущалась стариковская страсть до мелких земных радостей. Эта страсть не вызывала в Шмидте ни осуждения, ни злости. Было ясно, что происходит она от того состояния, когда человек понимает, что будущего у него уже нет — только прошлое и настоящее, — вот этот ускользающий миг, может быть, один из последних. Оттого и хочется вместить в него сразу все, что недо-

брал в прошлом, чего уже не взять потом: ведь будущего-то нет.

Сам же Шмидт числил себя совсем в иной категории. Несмотря на болезнь, он был убежден, что будущее у него есть, что оно не исчезнет даже тогда, когда последний срок подойдет вплотную, когда на лице почувствуется ледяное дыхание. Сколько минут еще останется впереди — все будущее. А если предстоит жить еще дни, месяцы, годы, значит, впереди целая эпоха, за которую еще очень многое можно сделать — и не просто повторить старое или развить уже достигнутое, а сделать более важное, более значительное, чем все, что удалось прежде. Конечно, никто не даст гарантии, что так все и получится. Но ведь и вероятность никто не исключит — пусть даже она мала, как в проблеме «захвата», но она есть! А раз в нее веришь, то есть будущее. И подводить итоги, сидеть на сцене, слушать комплименты, складывать лицо в мудрую улыбку, торжествуя в душе, чувствуя, как елей разливается по сердцу, — все это ни к чему, все это не для него.

Но домашний праздник дня рождения, конечно, состоялся. Пришли товарищи по дальним походам: Шевелев, радист Кренкель, оператор Трояновский, художник Федор Решетников, московские друзья, сотрудники отдела эволюции Земли.

Из многочисленных подарков больше всего понравился Шмидту фотомонтаж, который сделали Б. Ю. Левин и Л. Н. Радлова. В нижнем его углу очень удачная фотография — Шмидт сидит на берегу моря, прямо на песке, у самой кромки прибоя. Вольная, свободная поза, просторная белая рубаша, борода — всем своим обликом он похож на древнего философа. Лицо обращено в сторону моря, плечи опущены, расслабленные руки соединены на коленях — во всей его фигуре созерцательное спокойствие. И хотя

не видно глаз, кажется, его взгляд одновременно устремлен в бездну и внутрь себя.

А на фоне неба над ним пририсована схема образования планет по теории Шмидта. А дальше — полторы колонки самодельных стихов, в которых излагается его космогония...

Но, пожалуй, самый большой подарок ему преподнес Московский университет. На физическом факультете в тот год открылось геофизическое отделение. Шмидту предложили его возглавить. Несмотря на болезнь, все сильнее дававшую о себе знать, он согласился. Было ясно, что для разработки многих проблем геофизики нужны специалисты высшей квалификации. И вот теперь появилось отделение, которое будет их готовить. А значит, в число тех, кто развивает его идеи, вольются совсем еще молодые люди. От такой работы он не мог отказаться.

В старом здании университета отделение, затиснутое в несколько маленьких комнат, просто физически не имело возможности развернуться. Все с нетерпением ждали, когда будет достроен высотный дом на Ленинских горах, куда физфак должен был переехать одним из первых. Здесь Шмидт собирался прочесть курс лекций по космогонии.

В сентябре 1953 года лекцией Шмидта открылись занятия на физическом факультете в новом здании МГУ. Но прочитать весь задуманный курс Шмидту не удалось: через несколько месяцев болезнь свалила его с ног — на этот раз окончательно.

Собственно, болезнь начала новую атаку еще осенью. И надо было при первых признаках лечь в больницу или отправиться в санаторий, а он все тянул и тянул: очень не хотелось прерывать курс лекций. И вот стало совсем плохо. «После многократных легочных кровотечений, начавшихся в декабре 1953 г., — вспоминает Козловская, — Отто Юльевич

неделями должен был лежать на правом боку, туго прижав к груди правую руку, стараясь не шелохнуться, так как при перемене положения вновь поднималось обильное кровотечение, а с этой кровью каждый час могла уйти его жизнь. Отто Юльевич понимал все это. И таких было восемь недель...»

Смерть и на этот раз миновала Шмидта. Но попытки врачей снова поднять его с постели оказались безрезультатными.

Шло время, и с каждым днем все короче становилось его будущее. Он с грустью убеждался, что многие из прежних его любимых дел навсегда стали уже недоступны. В конце 1954 года Шмидт писал ректору МГУ И. Г. Петровскому: «Прошел год с тех пор, когда я читал свои лекции в Московском университете. Весь год я пролежал, скованный болезнью (туберкулез легких и горла), лежу и сейчас. Пора сделать необходимый вывод: уже ясно, что мне никогда не читать лекций... При таких условиях я не могу руководить порученным мне делом... Пора отказаться от иллюзий. Интересы дела требуют замены меня другим работником. Этого же требует моя честь и совесть».

Но и тех должностей, которые остались за ним, вполне хватило бы для здорового, полного сил человека. Он по-прежнему руководил отделом эволюции Земли, он — главный редактор двух журналов «Известия АН СССР, серия геофизическая» и «Природа».

И ни одну из этих работ он не выполняет формально. На всех он — не свадебный генерал, осеняющий своим громким именем чужие деяния. Смертельно больной, уже прикованный навсегда к постели, он постоянно работает. Все планы отдела согласовываются с ним, все работы сотрудников он читает, дает замечания и советы.

На его столе горы журнальных версток. Каждый

номер прочитывается от первой до последней буквы. Даже ответы на читательские письма он просматривает и, если бывает недоволен, пишет на полях, как следует ответить.

И еще — он продолжает собственные исследования. В 1954 году Шмидт публикует статью «О происхождении астероидов», на следующий год выходит его работа «Происхождение и ранняя эволюция Земли», им подготовлен для симпозиума по космогонии в Льеже доклад «Роль твердых частиц в планетной космогонии». А последнюю свою работу — небольшую научно-популярную статью «Почему Земля вертится?» для газеты «Moscow news» — он закончил 15 августа 1956 года, за три недели до смерти.

Но это не весь перечень его занятий. Постоянно и неукоснительно исполняет он должность, которую много лет назад взял на себя. Ее нет ни в одном штатном расписании, даже название ей нелегко подыскать, и для XX века — века точных формул и постоянной дифференциации наук и служб — она не типична, скорее свойственна давним временам — античности или древнего Востока, когда обыденно — наряду с гончарами, ткачами, ювелирами — жили в тогдашних городах мудрецы или Учителя. Вот и Шмидт для очень многих людей — Учитель. И здесь дело не в том, что он дает умные советы (хотя, конечно, дает), и не в том, что спокойно и тактично может утешить человека в горе (хотя и это умеет, даже теперь, когда сам на пороге смерти). Нет, влияние его более могущественно, оно не поддается дроблению, оно многозначно и в то же время едино, как само бытие. Вокруг него как бы образуется постоянное поле доброты, мудрости, всепонимания, юмора. И побыть в этом поле, ощутить его на себе уже давно стало необходимо многим из тех, кому выпало счастье знать

Шмидта, пройти бок о бок с ним хотя бы небольшой отрезок жизни.

Людам необходимо общение с ним. Это началось давно, когда он был еще здоров, полон сил и энергии. И свидетельства этой тяги к Шмидту людей — в их письмах.

В 1936 году Георгий Алексеевич Ушаков, проведший многие годы на пустынных арктических островах, мужественно переносивший морозы, смертельную опасность, испытание одиночеством, пишет Шмидту: «Часто сильно хотелось быть с вами, говорить, слушать, а когда пытался писать — не выходило. И в таких случаях еще больше хотелось, чтобы вы были близко, рядом. Мне кажется, я могу молчать, а вы поймете мое молчание...»

Эта тяга к общению, мысленное обращение к Шмидту проявляется с удивительным постоянством у совершенно несхожих людей и в такие минуты, когда, казалось бы, совсем не к нему должны быть направлены мысли.

Вот письмо Леонида Муханова с пометкой: 17.3. 1942, тыл врага, написанное наскоро, карандашом, на серой, рыхлой бумаге: «Дорогой Отто Юльевич! Где бы ни был, в каких бы условиях ни находился — всегда с любовью вспоминаю вас, моего учителя и друга. Большое спасибо за воспитание. Сейчас нахожусь в глубоком тылу и партизанам... Если вернусь, то многое расскажу о нашей партизанской борьбе, а главное о людях, которые творят во славу Родины замечательные дела. Крепко обнимаю. Ваш прежний Муханчик».

Излучение, которое шло от Шмидта, обладало каким-то таинственным свойством, оно как бы высвечивало в каждом человеке черты, качества, способности, которые и сам этот человек зачастую в себе не замечал. Оно заряжало верой в свои силы!

Генрих Францевич Хильми, математик, доктор наук, любивший говорить, что «не запоминает эмпирических впечатлений», постоянно подчеркивавший «математичность» своего ума, в одном из писем сумел удивительно точно сказать о том, что давало ему общение со Шмидтом: «...Я часто вспоминаю вас. Иногда это какая-либо ваша или совместно найденная мысль, иногда это образ или воспоминание. Иногда я вспоминаю день на Николиной горе, неподвижные сосны над рекой, сквозь стволы которых пробивается свет вечернего солнца. Мы только что закончили беседу о вашей космогонии и оба молчим. И что-то новое я вижу в этом клочке природы, который окружает нас. Я затрудняюсь выразить это новое, это, пожалуй, обостренное чувство историчности природы или что-то подобное. Эти эмоциональные брожения, конечно, не наука, но они содержат в себе источники той энергии, которая питает работу по добыванию ясных и точных представлений о природе. Я очень хочу узнать ваши новые мысли и работы. Я знаю также, что после встречи с вами я буду обладать новым запасом и точных представлений и эмоциональных брожений».

И до самых последних его дней друзья, соратники по различным жизненным поприщам хотели еще и еще раз видеть Шмидта, подпадать под действие его удивительного излучения, заряжаться «брожениями». Они не видели, как короток отпущенный ему отрезок времени. Они не верили в его близкую смерть.

А он не был легендарным богатырем — он был смертельно больным человеком. Врачи не понимали, как он живет. Легких, как целого единого органа, у него давно уже не было, процесс изъел их, лишь какие-то островки еще живой ткани кое-как справлялись с необходимейшей для организма рабо-

той — выхватывали из крови углекислоту и впрыскивали в нее кислород. Но островков становилось все меньше. Поэтому Шмидту были противопоказаны переутомление, волнения, разговоры, даже просто появление в его комнате гостей, волей-неволей кравших из воздуха кислород и повышавших концентрацию углекислоты.

Но люди с детской настойчивостью и с детским эгоизмом просили позволения прийти хоть ненадолго, хоть на полчаса, пусть даже на десять минут. И врачи мучительно не знали, как поступить. Конечно, никто бы из друзей не обиделся, если бы услышал твердый отказ. Да и об обидах ли речь, когда приближается страшный край, которого не миновать никому, когда каждый день может стать последним? Дело в другом. Врачи понимали, что и Шмидту нужны эти люди, что, может быть, именно встречи с ними и заставляют еще работать островки живой ткани в его легких, что именно участие в жизни, постоянное общение, без которого он не мог никогда обойтись, и дает его организму силы, чтобы совершать немислимое с медицинской точки зрения — жить. Потому врачи разрешали друзьям приходить.

А Шмидт ясно понимал все, что с ним происходит. С безжалостной четкостью ума, всю жизнь равшегося к постижению истины, смевшего до конца отдумывать мысли, он видел близость своей смерти. Жестокая последовательность материалиста не позволяла поддаться даже тени иллюзии. Он знал, что когда придет на берег Стикса — реки времени из древних мифов, — то перевозчик Харон поплывет не к другому берегу, не в другую жизнь, не в царство мертвых, а в никуда, в небытие. Он знал, что это может произойти в любую минуту, и поэтому щедро, не скряжничая, не экономя, растрчивал тот бесцен-

ный капитал, который у него еще оставался, — последние часы и минуты.

Чередой проходили перед ним товарищи по пройденным жизненным поприщам: те, с кем вместе работал он в Наркомпроде, Госплане, Наркомпросе, друзья по вошедшим в историю полярным экспедициям, те, кто разделил с ним последнюю его страсть — космогонию. И каждый сообщал об успехах, достигнутых во всех сферах, в которых и он поработал и, значит, к нынешнему движению которых он тоже был причастен. И он радовался — он чувствовал, что живет. В мае 1956 года, отвечая М. И. Шевелеву, который в то время был в Арктике, на поздравление с праздником, он посылает на мыс Шмидта (его мыс, в его честь названный после челюскинской эпопеи) радиограмму: «Благодарю всех товарищей за сердечный первомайский привет. Мое старое сердце радуется неслыханному размаху изучения освоения Арктики. Горячо желаю Вам дальнейших достижений». Он уверен — будут эти достижения, начатое им дело обретет еще больший масштаб. И его имя навсегда останется на нескольких квадратах карты: остров Шмидта, пик Шмидта, мыс Шмидта.

Немного позднее, летом, к нему приехал ученый секретарь Академии наук академик А. В. Топчиев. Шмидт говорил с ним о космогонии:

— Мне сейчас уже очень трудно продолжать писать самому... Я думаю, не так важно, будет ли на книге стоять мое имя или имена соратников: важно, конечно, ее написать.

И эта монография — еще одна ниточка в будущее.

В июле, когда жить ему оставалось чуть больше двух месяцев, он получил приглашение оргкомитета Третьего Всесоюзного математического съезда. Его звали принять в этом съезде участие. Он понимал —

математики знают о его болезни, знают, что он давно уже не встает с постели, но хотят показать, что и они, коллеги по первой его специальности, помнят его, ценят его труды.

Значит, теорема Шмидта, пережив его, останется в науке.

Но математики не ограничились письмом. В июле их делегация пришла к Шмидту, чтобы приветствовать его от имени съезда. Он был очень слаб, и делегацию пустили к нему лишь на пять минут. Шмидт, улыбаясь, выслушал их речь, поблагодарил за внимание. Потом, увидев среди пришедших своего однокашника по киевскому университету члена-корреспондента Академии наук СССР Бориса Николаевича Делоне, попросил его остаться.

Зная, что скоро не сможет говорить, Шмидт торопливо произнес несколько фраз, навсегда врезавшихся в память Делоне:

— Я благодарю судьбу, благодарю за ту жизнь, которую она мне дала. Сколько было хорошего и сколько интересного! Я не боюсь умирать.

Содержание

Конструкция биографии	3
Каникулы в Арктике	9
Любовь к первоисточникам	31
Республика во льдах	52
Крым, 1945	65
К вершине планеты	84
Подводя итоги...	104

Игорь Ильич Дуэль
линия жизни

Заведующая редакцией *А. Т. Шаповалова*
Редактор *Ю. Н. Чернышева*
Младший редактор *Л. В. Масленникова*
Художественный редактор *Г. Ф. Семиреченко*
Технический редактор *О. М. Семенова*

Сдано в набор 5 августа 1976 г. Подписано в печать 25 ноября 1976 г. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 5,78. Учетно-изд. л. 5,51. Тираж 200 тыс. экз. А 00190. Заказ № 984. Цена 20 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

20 коп.

7
20 / 01
- 15



ПОЛИТИЗДАТ • 1977